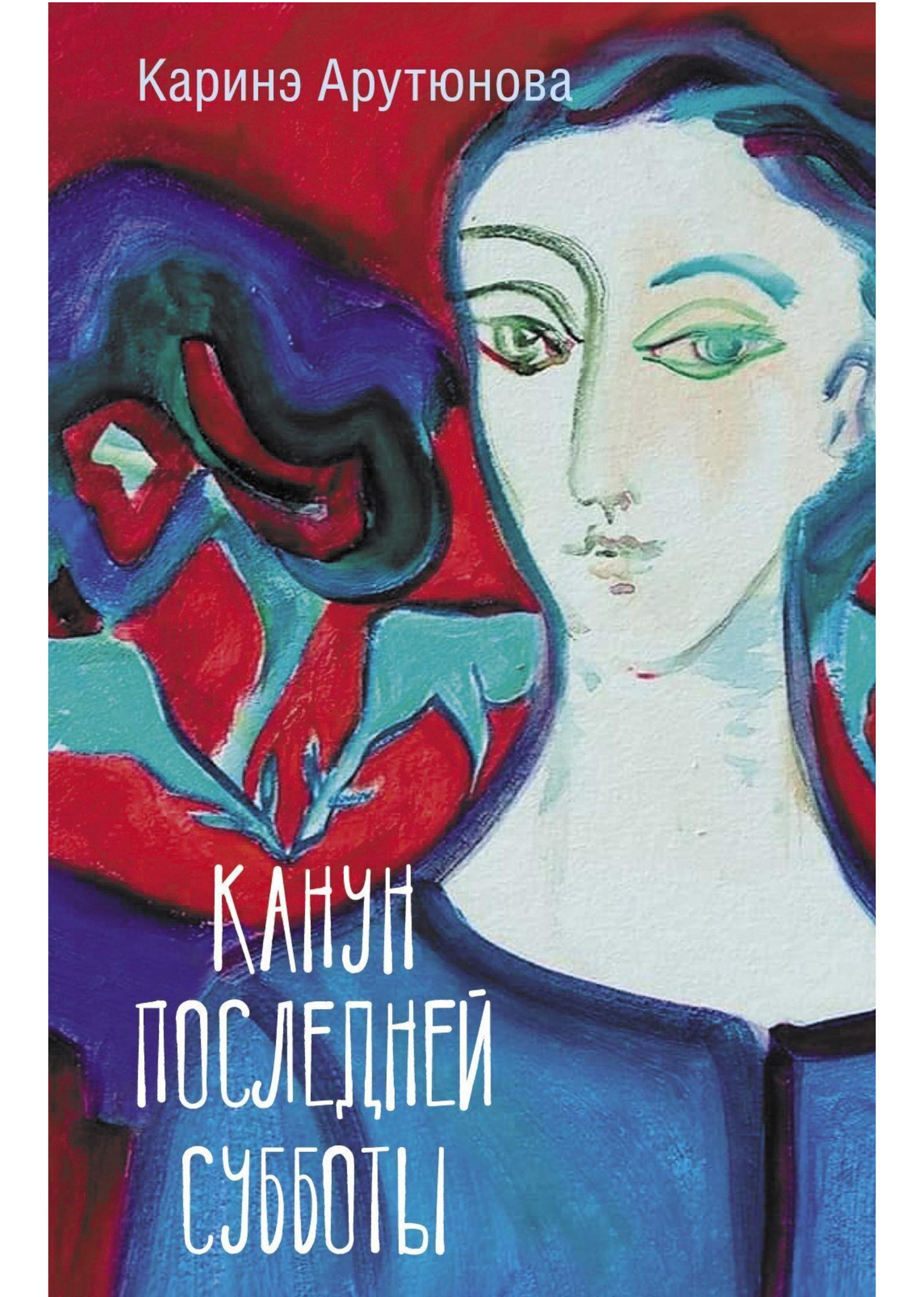


Каринэ Арутюнова



КАНУН
ПОСЛЕДНЕЙ
СУББОТЫ

Люди, которые всегда со мной

Каринэ Арутюнова

Канун последней субботы

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

Арутюнова К.

Канун последней субботы / К. Арутюнова — «Издательство АСТ», 2022 — (Люди, которые всегда со мной)

ISBN 978-5-17-150645-2

Сборник повестей и рассказов разных лет украинского и израильского русскоязычного писателя, поэта и художника Каринэ Арутюновой – автора книг «Ангел Гофман и другие», «Пепел красной коровы», «Скажи красный», «Дочери Евы», «Цвет граната, вкус лимона», «Падает птица, летит снег» и других сборников короткой прозы; лауреата литературных премий Андрея Белого (2010), Марка Алданова (2021), Владимира Короленко (2017), Эрнеста Хемингуэя (2020). В авторской редакции. Сохранена авторская пунктуация.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

ISBN 978-5-17-150645-2

© Арутюнова К., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Сотворение мира	7
Свет янтарной лампы	8
Как раньше	9
Созерцатель птичьей жизни	10
Прошедшее время	12
Дорожки	13
Петушок на дне тарелки	15
Простые вещи	16
Провинция	17
Ханука	19
На улице Заколдованной розы	22
Броня	23
Голоса	24
Можно сказать	25
Всадники	27
В мире безымянных пуговиц	28
Лифчик	29
Клоун Пит	30
Ножик	31
Люсик	33
Тудой или сюдой	35
Посланник небес	37
Мелодия	40
Обратная сторона Земли	41
Осколок	43
Бульвар Перова, 42	45
Синие трико	47
Рыба	50
До курицы и бульона	51
Любовь к чернозему	53
Ковчег	55
Карусель	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Каринэ Арутюнова

Канун последней субботы (сборник)

В оформлении обложки использованы рисунки автора

© Каринэ Арутюнова, текст, ил., 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *



Каринэ Арутюнова – украинский и израильский русскоязычный писатель, художник.

Автор книг «Ангел Гофман и другие», «Пепел красной коровы», «Скажи красный», «Дочери Евы», «Цвет граната, вкус лимона», «Падает птица, летит снег» и других сборников короткой прозы

Лауреат литературных премий Андрея Белого (2010), Марка Алданова (2021), Владимира Короленко (2017), Эрнеста Хемингуэя (2020).

* * *

«Арутюновой присуще то редкое и оттого вдвойне ценное качество, свойственное, прежде всего, подлинным художникам, которое Манделштам назвал „хищным глазомером“».

Виктор Топоров

«Каринэ Арутюнова – это голос из новой русской литературы, не постсоветской и не российской. Еврейка по матери и армянка по отцу, выросшая в Киеве и прожившая много лет в Израиле, она обладает видением, пронизывающим этнические, политические и географические перегородки».

Михаил Крутиков

«Арутюнова обладает универсальным восприятием мира: чтобы создавать настолько объемные картины, нужно быть художником; чтобы писать ритмизованную прозу – пожалуй, подобные тексты удаются ей больше всего, – нужно иметь тонкий слух; и, кроме того, автор умеет передать на письме тактильные ощущения, как мало кто другой из современных русских прозаиков».

Елена Георгиевская

«Каринэ Арутюнова пишет музыку словами и на протяжении всей своей прозы не берет ни одной фальшивой ноты».

Владимир Гандельсман

Сотворение мира (о прозе Каринэ Арутюновой)

Музыка – это запечатленное течение времени. Оттого даже в самой жизнерадостной музыке скрыта большая печаль, оттого так хорошо под музыку плачется слабонервным натурам.

Замечу, что люди с железными нервами меня не интересуют. Меня интересуют те, которые, слушая прекрасную вдохновенную музыку, чувствуют, что она может оборваться, как серенькая ниточка времени, протянутая сквозь эту музыку, обернутая ею и преображенная.

Еще больше меня интересуют композиторы. Точнее, я их люблю. Среди милых моему сердцу слабонервных натур они самые уязвимые и самые спасенные.

Каринэ Арутюнова пишет музыку словами и на протяжении всей своей прозы не берет ни одной фальшивой ноты. Абсолютный слух выражается еще и в том, с какой безукоризненной точностью в произведение вплетаются мелодии и голоса любимых К. А. авторов, местечковая речь или мощные пассажи в ветхозаветном духе, когда возникает еврейская тема.

Абсолютный слух не обязательная принадлежность композитора, но почему бы не упомянуть об этом, если он есть? Не могу молчать.

У К. А. есть и все остальное: мысль, воображение, мелодика, музыкальная память, техника... Талант, в конце концов.

Искусство символично по определению. Оно не есть фотографическое воплощение эфемерного переживания семилетнего ребенка или внятного предметного мира сегодняшнего дня, навеявшего это переживание, оно есть нечто третье: постижение того, что непостижимо, путем письма и установление истины.

Непостижимое (бесконечное) требует безотрывного внимания фразы ко всему, что проносится перед взглядом пишущего. Занятие безнадежное для того, кто не владеет искусством монтажа. Но не о безнадежных речь. Речь о К. А., которая – владеет.

Отличительная особенность прозы К. А. – протяженная, «нескончаемая» фраза, иногда длиной в страницу, и это родственно какой-нибудь музыкальной части симфонии, которая не может прерваться, пока не сыграна целиком. Но дело не только в этом благородном родстве, с указания на которое я, собственно, начал свою запись.

Дело в том, что это не литературный прием, но естество и сущность пишущего, умеющего вместить в одну фразу – вы убедитесь в этом, едва начнете читать К. А.! – повесть, а то и роман.

Владимир Гандельсман, поэт, переводчик

Свет янтарной лампы

Вот он, золотой свиток времен, материализовался из воздушных масс, утомленных перемещением в пространстве.

Люблю это время, в котором не принадлежишь ничему и никому, – всякий король в этом долгом и теплом дне, который неизбежно клонится к финалу.

Люблю этот час, немного размытый, неопределенный, немного сонный, необязательный. Можно застыть с бокалом вина, можно не торопиться, потому что все вершится без особого моего участия, мир исправно поставляет новости, события и реакции на них.

Спящая собака у моих ног, ее вытянутая по диагонали морда сообщает о крайней степени блаженства и неспешности.

Хорошо знать, что время принадлежит тебе. Очерченный солнцем квадрат на полу, в нем мерцают золотые пылинки. Пусть ненадолго, но ты званый гость в этом доме. Все кажется вторичным – подхваченная и размноженная музыкальная фраза теряет смысл и вчерашнее обаяние. Развлечением стала тишина, происходящая в ней медленная жизнь, случайные реплики случайных событий. Думать о возможной дороге, не выходя из контекста.

То тут, то там звонит колокол. Хорошо знать, что там, за горизонтом, что-то непременно продолжится, но лучше туда не спешить.

У меня есть время, – сообщаемь кому-то так, без особой нужды, пугаясь внезапности смысла, ускользающего в потоке обыденного.

Как раньше

Успокаивает то, как раньше. Как раньше, несмотря на смог и пыль, вдруг откуда-то шлейф августовский горьковатый, и некто в шлепках и майке, насвистывая, рассекает по двору с прижатым к животу арбузом, и где-то, совсем близко, как раньше, вспыхивает светлячок – ах нет, это зажженная сигарета, но вспышка из густоты сумерек точно утешение.

Или, как раньше, буковки «Аптека» – не то чтобы светятся, но подают признаки жизни, и там, за толстым стеклом и перегородками, живет старый провизор Гольдберг – а вы и поверили! – нет, там тетенька с буклями седыми, которая и родилась с этими буклями прямо в аптечном окошке, я ее с детства помню... хотя нет, постойте, вот этого уже точно быть не может, видимо, все-таки это ее дочь, или племянница, или просто двойник, копия, клон. Хозяйка такого небольшого государства, в котором пастилки от кашля и укропная водичка для младенцев по-прежнему в цене – как раньше; грохочет трамвай, ничего ему не делается, те же рельсы и те же провода, и пассажиры глядят в мутные окна, провожая взглядом неказистую архитектуру окраин.

Серое так и осталось серым – пыль, дома, разбитые ступени.

Подземный переход, как раньше, гнетет скудным освещением; как раньше, одна лампочка либо выбита, либо украдена, – но вот чудеса, я больше не боюсь (как раньше) темноты, я больше не семеню, затаив дыхание, не ускоряю шаг, иду ровно, нарочито уверенно (не так, как раньше).

Когда поезд проезжает станцию «Днепр», ты видишь все ту же статую и реку, и сидящие напротив летние люди как будто просыпаются, и нет человека, который не посмотрел бы вдаль, сузив зрачки от внезапного света.

Как раньше, волнуют человеческие лица и голоса, радуется тяжелая припорошенная пылью кисть винограда (почти как «изабелла»); как раньше, есть ожидание чего-то непременно особенного и важного, что должно произойти, – письма, напоминания, встречи. Как раньше, нараспашку окно, и не хочется думать о том, что еще немного, и все изменится, – впрочем, как и раньше, наступят долгие ранние сумерки, лишённые бесхитростного тепла.

Как раньше, живешь сегодняшним, откладывая покупку зимних ботинок на потом. Потом будет потом, и оно никогда не будет таким, как раньше.

* * *

Это было в какой-то другой жизни. Торшер казался диковинным пришельцем, книги таили секреты неизведанных миров. Уютный вечер, топот босых ног, хруст свежеснеженного снежка (помните укрытый пуховым одеялом двор?), тени на стене и наивные истории с картинками на белой простыне голосом папы или мамы или даже старшего брата. Счастливые времена диафильма. Пыльная коробка с пленками – целое богатство! Огромный непостижимый мир, подвластный колесу проектора. Главное, дождаться темноты, задернуть шторы, расставить стулья.

Многое стирается из памяти, распадается на фрагменты (точно стеклышки в калейдоскопе), стена становится просто стеной, торшер – торшером. Тикающие ходики остались в другой жизни. Никто не всматривается в белую простыню, никому и в голову не придет повесить ее на стену, достать с антресолей заветную коробку с историями и выключить свет.

Созерцатель птичьей жизни

На моем карнизе (за окном) какая-то голубиная вакханалия. Что-то происходит. Явно космического масштаба. Карниз сотрясается от ударов птичьих лап, воздух раздираем голубиными стонами и (как бы назвать этот странный множественный звук?) бурным и частым взмахом крыльев, клекотом и таким... горловым квохтаньем и курлыканьем.

Звук, вступая во взаимодействие со степным августовским ветром (ничего, кроме сухого ковыля, сушеного кизяка, и нет-нет да и пахнет стоячими водами, их тяжелой недвижимой массой, и потом вдруг раз – далекими странами, голубыми озерами, кувшинками и ласточкиными гнездами), – так вот, звук, вступая во взаимодействие с воздушными массами, создает странный эффект – моего случайного присутствия в бурной жизнедеятельности обитателей этого кусочка земли.

Август – удивительное время. Похоже, они вьют гнезда. Или подыскивают место для таковых.

Я тихий созерцатель птичьей жизни. Не хочется нелепым движением разрушить выверенность (на первый взгляд) хаотических действий. Вот беспокойный стон – в просвете рафаэлевский профиль кроткой голубки, и вновь – мощный взмах развернутых крыльев. Сложенные, они скрывают реактивную мощь взмывающей ракеты. Потoki воздуха несут ее к ближайшему дереву, и там, похоже, разворачивается основное поле действий. В семейное собрание вплетаются сторонние голоса – каких-то тропических случайных птиц, неведомых тварей, болотных ужей, дятлов и полевых мышей.

Мое присутствие столь бесполезно и малозначимо в этой картине мира. Влияет ли оно на популяцию птиц? На мерцание далеких звезд? На зарождение новых галактик? На устройство птичьих гнезд? На разрастание старого дерева у моего окна? На созревание каштановых плодов, на их недолгий маслянистый блеск, на ажурную вязь листьев, на небеса, просвечивающие сквозь ржавые прорехи?

Венец творения? Не смешите меня. С какой скоростью (и изяществом) эти существа вьют свои гнезда. У них нет времени. Вот этот короткий просвет в жарких волнах августа, вот этот взмах и пикирование – по человеческим меркам и есть те самые годы активной жизни (успеть обзавестись потомством, построить кооператив, выкормить птенцов).

Кто из нас соглядатай? Голубка, косящая удивленным взглядом, или я, заносщая в условный блокнот свои наблюдения?

В последние дни августа все живое наконец равно самому себе. Невидимый распорядитель отдает приказания, невидимые музыканты разворачивают партитуры. Движения выверены, точны, стремительны. Нет права на ошибку, оплошность.

Дерево у моего окна раскачивается, шелестит, сверкает, оно все еще (как никогда) полно света и заключенной в нем жизни, но счет пошел на дни.

* * *

Эти тучные птицы облюбовали дерево за моим окном. Не знаю, есть ли у них календарные праздники, отмечают ли они Рождество или Новый год. Уже с утра будничная переключка, равномерное и ритмичное бурление голубиной жизни. Дерево, плотно обсиженное птицами, важными, будто депутаты какой-нибудь небесной думы, пустеет в секунду и остается с потерянно торчащими голыми ветвями. Куда столь деловито срываются они всем скопом, что обсуждают, глядя на меня? Возможно, я всего только деталь некоего конструктора, которую принимают они за часть урбанистического пейзажа. Возможно, на их порывистый и поверхностный птичий взгляд, положение мое довольно статично относительно всего прочего

движущегося мира. По крайней мере, сейчас. В те несколько минут осмысленного осознания присутствия в существующей системе координат. Не станция метро и не улица такая-то, а широта и долгота поясов, охватывающих тело Земли. Мое положение статично относительно пикирующего голубя и стабильно относительно многих. Хотя, если вдуматься, что может быть надежней воздушных струй и небесных потоков? Желая устойчивости, все живое избегает ее, стремится к проникновению вглубь и вширь, к развитию скорости и покорению вершин. Как жаль, что я не обладаю особенными познаниями в точных науках! Что я не в силах вывести изящную формулу и закрепить ее, записав как непреложное свидетельство вечного движения и взаимодействия всего и со всем.

Какая восхитительная связанность действий, следствий и причин, мотивов и поводов. Как сладко слышать вопрошающий детский голос, первый из человеческих в этом дне.

* * *

Я вижу сидящего на карнизе голубя, и в этом благая весть. Она в подступающем грозном облаке, во влаге, которой должно разрешиться оно. В ветре, пригибающем деревья, в близости речной воды.

Река пахнет настоящим. Плывет себе и плывет, без всяких видимых причин и усилий. Может, и мы можем так? Часами можно сидеть у реки, отпустив свои мысли по течению.

Птицы летают низко. Воздух напоен будущими грозами, влагой, жаром, щебетом. Подходим к середине лета. К сердцевине его. Точно косточка абрикоса. Плоть вокруг нее смята, упивается собственной сладостью, брызжет соком, источает соблазны. Время подвисает в паутине, течет по проводам, напоминает о себе неслышными толчками, точно сеть кровеносных сосудов, опутывает с ног до головы.

Как будто кто-то наводит театральный бинокль, взятый напрокат у тетеньки в гардеробе. Такой, в уютном сафьяновом футлярчике того же вишневого оттенка, что и тяжелый пыльный занавес.

Картинки прошлого, приближенные бесхитростной оптикой, обретают ясность и завершенность. Наконец-то становится очевидным замысел! Случайная подробность оказывается незабываемой. Масштабное, значительное – меркнет, сворачивается по мере приближения. Тут и там вспыхивают светлячки воспоминаний, душа сама выбирает, чему быть близкой.

Память – это не увешанная планками грудь юбиляра, не пыльный альбом с черно-белыми снимками. Это нежное свечение изнутри. Звук аккордеона из колодца чужого двора. Спотыкающаяся гамма из окна напротив. Уголок тюлевой занавески. Пыльный фикус на подоконнике. Мелодичный перезвон посуды. Топот обиженных ног. Его запрокинутое лицо. Его честные слезы. Ее наивный триумф. Легкость обожания. Дыхания. Походки. Восторг междометий, пожатие сведенных робостью пальцев. От батареи идет ровное, будто от печки, тепло.

Так хорошо засыпать под шорох дождя. Слышен звук сдвигаемой каретки, суховатое покашливание, одинокий голос ребенка, напуганного сном. И чей-то бубнеж за стеной – четверть алоэ, четверть каланхоэ, по капле в чайную ложку молока...

Прошедшее время

Прошедшее время. Я его переписываю, если хотите, смещаю акценты, вырезаю кадры и целые серии. Например, школу. Безжалостно кромсаю пленку. Выбрасываю метры, рулоны. Там, на месте этих кадров, черные дыры. Космические пустоты. У меня, у девочки из в целом приличной семьи. Конечно, иллюзию безопасности создавали родители. Дома, среди книг. Зарыться, отсидеться, отогреться (на потом, навсегда) на низком топчане у коротковолнового приемника, за папиной спиной, под клацанье печатной машинки («Эрика», «Мерседес»), или на Подоле, у тети. Весь мир, выстроенный, обжитый исключительно для тебя, – вот он, поток безграничной любви. Что было до того (слезы, потери, страхи) – неважно, ты всего этого не знаешь еще: ни про эвакуацию, ни про соседей, ни про самое страшное, о чем не принято вслух, – тебе на фарфоровом блюде – вся мощь и сила добра, в котором ты расцветаешь и плависься, – на вырост, на потом. Двор с необъятной акацией, кошачья свора (у каждого своя индивидуальность, имя), радио на стене, сдвинутые ставни – вот пробивается полоска света, вот ходики с гирькой, подвешенной руками деда Иосифа, – поворот головы, наклон ее, полузакрытый глаз (след от казачьей нагайки), мерный звук, мерный и мелкий, – такое подвешенное на цепочке время, и вторит ему утробный бас настенных, напротив, часов. Подушка-думочка под щекой, дыхание где-то там, в тазах клубящегося, зарождающегося варенья – вишневого, допустим, с крепкими, мелкими, твердыми, очень сладкими ягодами. Все это для тебя, весь этот волшебный, по кирпичику выстроенный мир – как будто сказочный джинн одним щелчком породил запахи, вкусы, звуки, плотность стен, торжество уюта. Торшер, блюдец, подстанник, плед, раскрытая книжка, струение голосов, они обтекают тебя, разглаживают, насыщая теплом, защищенностью, – впрок, на все времена, но ты не знаешь еще, полагая, что навсегда этот крепкий детский сон, байковое одеяльце, заботливо подоткнутое (не дай бог раскроется, простудится). Не навсегда. Но в тебе. С тобой. Этот дар на дрожащих вытянутых руках – сок, чай, неважно, – главное, донести, не расплескать.

Иногда я прохожу мимо этого дома. Точнее, мимо того, что было им. Ворота, массивная цепь, замок. Напротив ресторанчик, довольно, впрочем, уютный, как многое на Подоле. Военная часть. Стена. Провожу рукой. Ладонь вспоминает каждый бугорок, трещину, выступ. По сантиметру можно добраться до главного. Они там. Все еще там. Ждут меня у стола. От печи мерное тепло – на века, на века, в глубоком тазу – ах, какой таз! (вы хоть помните, как покупался, как обживался?) – вскипает варенье. С кислинкой. Кизил, клубника, смородина. За кадром – речитатив радио, голоса со двора. Кто-то месит тесто, руки по локоть в муке. До золотистой корочки обжаривается вермишель, получается «бабка», такое смешное лакомство. Люблю, задрав голову, смотреть, как зажигаются огни, как движутся тени. Неважно, что снаружи: осень, зима, весна. Внутри – лето. Оно навсегда. Так отчего же ты медлишь, сорви замок, разорви цепь, иди, ничего не бойся.

Дорожки

Сознание хватается за незначительные детали в тщетной попытке войти в мир, подобный кэрролловскому Зазеркалью.

Цепляясь за краешек истертой жесткой ткани, подобной домотканому «паласу», устилающему деревянные крашенные половицы, я вхожу в комнату.

Но нет, никаких половиц, конечно же, не было. Наблюдался светлый, новенький, поскрипывающий паркет – дань новой стилистике, под стать светлой неустойчивой мебели, – ну как мебели, – раскладывающаяся низкая тахта, секретер, полки с книгами, тогда их было относительно немного, – в начале жизни всего, в общем, немного, это минимализм молодости, в которой главное – не подробности бытия, а само, собственно, бытие как свершающийся сиюминутно факт – вот тут оно происходит, на этих квадратных метрах, заполняя собой все углы и плоскости.

Не до подробностей было в крохотной квартирке на Перова. Вот только половички... Подозреваю, не без участия Розы Иосифовны, бабушки, в доме нашем заструились дорожки – предмет дополнительной заботы и пристального внимания. В них регулярно скапливалась пыль – о, сладостный звук выбивания, вытряхивания, – сквозь толщу ранних сумерек, – темные квадраты пыли, – на ослепительно белом, это отчетливо видно с нашего второго этажа, – отмытые, пахнущие свежестью и чем-то неуловимо праздничным, ложатся они на паркет, вызывая нечто вроде почтения – как можно ступить на только что вымытую, выбитую и еще влажную от первого снега ковровую дорожку?

Странно, я не вспомню, при каких обстоятельствах они исчезли, – возможно, обрели новое дыхание в комнате бабушки и ее «другого» мужа, – ведь там все было под стать им – подзадержавшиеся (из другой жизни) громоздкие предметы: сервант, комод, металлический каркас кровати, повизгивающие пружины, за которые можно было хвататься, извлекая звуки различной сложности, и да, никелированные шпешечки, которых я так любила касаться. Похоже, им (дорожкам) уютно было там, в темном и сложном мире компромиссов, претензий и уступок, соглашений и пактов о капитуляции.

Ведь в нашей, светлой и праздничной, немного безалаберной, квартире часто бывали гости, и тут уже, вы понимаете, было не до чинных ковровых дорожек, – раздвигался, а после складывался стол, вращались бобины, змеились ленты... Мелькали узконосые ботинки, лакированные туфли на шпильках, оставляя едва заметные отверстия между паркетинами.

Как печально должно было быть в темной комнате с никелированными шпешечками, когда звуки твиста или рок-н-ролла врывались в быт, подкрепляемый сложившимися ритуалами – время парить в эмалированном тазу ноги, охлаждать холодец, разделявать курицу, время футбольного матча или громоздкого, с храпом и присвистом, сна.

Как часто, переносимая в темный и душный мир стариковского присвиста и сопения, лежала я, накрытая чуть ли не с головой, не в силах пошевелиться. На соседних кроватях глыбились глыбы, со стульев свисали белые штанины кальсон, ночь казалась провалом, дурной бесконечностью, но вдруг – о чудо, – поворот ключа в замке, и сердце, объятное ужасом, подпрыгивает – я спасена! Босые ноги, взметнувшись, оказываются на полу, но дорожки, предательски свернувшись под ступней, становятся неожиданным препятствием к побегу.

Они хватают меня за лодыжки, утягивая в трясину зыбкого сна...

О, мир стариковского ворчания, размокшая булка в молоке, стакан с плавающим в нем странным предметом, похожим на акулю пасть, темное нутро комода, его выдвигающиеся ящички, щедро усыпанные нафталином.

Я помню дамскую сумочку с защелкивающимся замочком, и в ней, в этой сумочке, сложенные вчетверо бумаги, их желтеющие сгибы, – таинственный и непонятный мир квитанций, уведомлений, повесток.

Скрепленные резинкой письма, тусклые буквы, проступающие на рыхлой бумаге.

Бабушка, откашливаясь, вводит меня в свой мир. Мне кажется, она немного важничает. Ведь это так похоже на музей. Застывшие предметы вызывают боязливое, однако не лишённое любопытства чувство.

Из этих тарелок ели. Из этих бокалов пили. Квитанции хранились. Столы раздвигались. Полки громоздились одна на другую. Книги, журналы собирались в стопки. Доставались, читались, дарились, подписывались.

И только ковровые дорожки... зачем они были нужны? Возможно, исключительно для того, чтобы, являясь в моей памяти, проступали солнечные блики на сплетении нитей, образующих нехитрый узор.

Петушок на дне тарелки

Ляле

Такой камерный день, сумерки уже с утра, и такая оглушающая тишина, прерываемая редкими каплями дождя и утопающими в ней, тишине, далекими голосами. Хорошо просыпаться в мансарде старого дома с толстыми кирпичными стенами, с видом на крыши близлежащих домов, наблюдать, как меланхоличная дымка, точно облачко пара, проступает то тут, то там. Хорошо в подробностях воссоздавать ушедший в небытие мир: громко тикающие ходики с гирькой, накрытый скатертью овальный стол, горячий маслянистый свет лампы – он отражается в черенке мельхиоровой вилки, в золотистой кромке нарядного блюда, в глубокой синеве небольшого чайничка-заварника (есть еще большой, пузатый, точно купчиха).

Словно долгий и тихий сон, в который погружаешься без колебаний, – далекая, полная иносказаний и полутонов жизнь, она вся будто на ладони. И, если поднять голову, многократно повторенные и размноженные (в люстре) отражения мирно обедающего семейства вызовут беспричинный (для непосвященных) смех.

Одно огорчало меня, один небольшой штрих – почти сырые яйца всмятку, которые подавались, точно главный приз, в этом гостеприимном доме и, видимо, считались необыкновенно полезными, они вызывали острый приступ неприятия и неповиновения.

Такой мягкий отсвет на лицах, такие долгие-долгие сумерки. Как жаль, что больше не будет раскладывающихся выкрашенных белой краской ставен, за которыми тень старой акации и постукивание костяшек домино. Глубокая мерцающая синева, золотой ободок, особенный, распространяющийся аромат вываренного и выглаженного постельного белья – сколько за этим ежедневного, нескончаемого труда.

Спать в чистом. Есть с красивого. Свет должен быть теплым, янтарным, часы – точными. Юная пастушка в смешных панталонах подмигивает из недр массивного серванта (о, сколько неизведанных чудес скрывается за створками его).

Со dna глубокой тарелки проступает нарисованный безвестным художником петушок в щегольских сапожках. Я помню отчетливое ощущение триумфа при виде проявляющегося сквозь толщу бульонных вод петушиного гребня. Теплое, густое, округлое. У мирных времен свои приметы, их надо держаться в смутные времена.

Простые вещи

Все вернется на круги своя, и люди вновь начнут радоваться бесхитростным вещам. Луковице, прорастающей в двухсотграммовой баночке из-под майонеза, первому огурцу и первой редиске (когда-то у всего были сроки, дети мои, и у редиса, и у огурца, и, не про нас будь сказано, у клубники).

Все цвело, плодоносило и увядало в законные, отведенные для этого Создателем сроки.

Я помню сводящий с ума запах первого весеннего огурца, хруст настоящей редиски, я помню (сквозь створки рам и ставен) чью-то недостроенную дачу, даже не дачу, а так, участок, сидящих за наспех сколоченным столом детей (среди них вижу себя), мятый картофель в стеклянной банке, благоговейно разрезанный (вдоль брюшка) огурец, неспешные беседы взрослых (о, таинство далеких миров), нас, ошалевших от обилия воздуха (такого же свежего, как огурчик на блюде), света (впрочем, солнце клонилось к закату, но и это было дополнительным бонусом к долгому счастливому дню).

Как вновь обрести утерянное очарование повседневности, тривиальности даже (кивают пупырчатые малосольные огурчики из кем-то закатанных банок), и кем-то сваренное варенье (о, будь трижды благословен вяжущий вкус кизила) покоится себе в хрустальном своем обрамлении, уютно так, точно в детской ладони, – янтарные складки желе таят в себе неразгаданные секреты ушедших миров.

Подумать только, эка невидаль – огурец. Да у нас, господа, этих огурцов... каких хочешь. Как и варенья, и джема – в нарядных баночках-упаковках – рядами теснятся на полках, ждут своего часа. Быть съеденными. Не всуе, не наспех. Ведь, если задуматься, никакого смысла в этом обилии всего, если нет спроса. Вожделения. Дрожащей от нетерпения руки, срывающей запретный плод.

Как хороша яичница (с подрагивающими яркими желтками посередине) – после ночи любви на продавленной поколениями койке, как божественен сладкий чай в подозрительно мутном стакане, как изнурительно прекрасен начинающийся за оборванными шторами весенний день.

Мир был открыт и светился – без фильтра и ретуши, без добавления яркости и контраста, – контрастов хватало идущим в обнимку нам, – мимо цветущих деревьев, затрапезных кафешек с нечистыми стаканами, мимо костела и пока еще незыблемых постаментов – свидетельств эпохи, которая, казалось, будет всегда.

Яичница, жареный картофель, разрезанный вдоль огурец.

Чем прозрачней собственное существование, тем ярче потребность восстановить (хоть как-то, по крупницам) картину мира. Вернуться к скудости (обретая яркость) вкусов, желаний – начать с негативов, с набросков углем, черной тушью, по дюйму (осторожно) добавляя резкости, растирая границы, – отходить, любясь сотворенным – бедностью, тишиной, вспыхивающим в ней, тишине, смыслом. И только потом браться за пастель, акварель, темпера.

Оставляя главное – на потом. Чтобы не растерять окончательно. Тот самый вылепленный с божественной смелостью мир, в котором каждый штрих и звук подобен бесхитростной трапезе за наспех сколоченным столом. Где все настоящее. Редиска с грядки, блистающий граниями огурец, чертополох, растущий у забора, ты сам, сидящий у стола.

Провинция

В этом вагоне время остановилось, здесь знать не знают о комфорте хюндаев и роскоши включенного кондиционера – сюда входят, чтобы умереть, запутавшись в складках рваного белья, надышавшись белесым налетом пыли, – забудьте же поскорей о воздухе, поступающем из едва обозначенной щели навеки законопаченного окна, забудьте о вожделенном глотке кислорода – отключите всякую мысль о спасении, улыбнитесь случайным попутчикам, уже не поражаясь землистости лиц и отсутствию всякого выражения на них, – их путь не равен вашему, с наивностью новичка вы все еще озираетесь, поджимаете ноги, держите спину, полагая себя случайным пришельцем с планеты хюндай, но тут из густого марева выплывает внушительных размеров бюст проводницы, голос ее внезапно любезен, – отказываясь верить, вы различаете слова, – «чай», «горячий», медленно постигая суть предложения и искусство выживания одновременно, – наградой за ваше минутное замешательство становится стакан кипятка в подстаканнике, – классика жанра, – но, диво дивное, – уже с первым глотком к вам возвращается жизнь, смысл ее и красота, ничуть не уступающая вагону второго класса недавно покинутого хюндая, где слабо работающий вайфай становится единственной проблемой, а изящно упакованный сэндвич и аромат молотого кофе восстанавливают чувство поправленной справедливости, – итак, с первым глотком горячего чая в тридцатиградусную жару вы постигаете дзен.

Самое главное здесь остается за кадром. Это как если бы вы попали в собственное детство образца 60-х, в тогда еще теплый и немного провинциальный, допустим, Киев, – мое все же детство прошло в Киеве, – городе спокойном, без имперских амбиций, городе южном и по-южному несколько расхлябанном. Тогда еще по улицам ходили святые, слепцы, бандуристы, – потом они внезапно исчезли, точно по команде, – как выяснилось, действительно, по команде – во всяком случае большая их часть, ну а прочие банально не дожили до светлых времен, до коммунизма, который, как вы помните, должен был наступить сразу же после социализма, развитого и с человеческим лицом. В общем, не знаю, как насчет всего остального, но с человеческими лицами становится все проблематичнее. Ушла куда-то обычная человеческая простота и доброта. То есть, не окончательно ушла – встречается еще в порядке исключения, но исключениями сыт не будешь. Коммунизм так и не наступил, детство кончилось, но, оказывается, его еще можно встретить – в него еще можно окунуться, – допустим, если сесть в поезд и укатить за сотни километров от дома, и оказаться в городе, в котором помидор пахнет нагретой землей, солнцем и дождями, малина – лесом, картошка – картошкой. В котором базар совсем не похож на то, что существует в столичных городах сегодня, – здесь нет горластых и бокастых перекупщиков, нет суеты, остервенения – в протянутые лодочкой темные ладони приятно класть деньги, на смуглые до черноты лица и высветленные зноем глаза хочется смотреть, из этих рук приятно принимать сорванное с грядки каких-нибудь несколько часов тому назад, – в корнеплодах еще биение и струение живой жизни, пульсация земли, ее гул и запах, – а между рядами бродят те самые, из детства, «з сивыми вусами», в соломенных шляпах, вышиванках, купленных не в дорогих бутиках по случаю внезапной эйфории, – похоже, некоторые вопросы так и не удалось решить окончательно, и в мире еще остались безыскусность и простота, которые отнюдь не синоним провинциальности, – те самые безыскусность и доброта, благодаря которым человечество все еще существует. Здесь водятся таксы, рыжие коты, во дворах сохнет разноцветное белье, а в озере плавают утки. С приходом ночи утки засыпают на воде, прикрывая крыльями клювы. В окнах загорается свет, и лето кажется бесконечным. Такая вот насыщенная жизнь небольшого города, который легко обойти пешком за один день.

Привет из прошлого, как бы намекают они, навек прописанные в витрине на улице N, – застыв в изумленно-счастливых позах, эти искусственные дети из папье-маше неплохо сохранились в отличие от нас, посмеивающихся в кулак, пресыщенных познанием иных миров, –

склоненная целлулоидная головка, облитая глазурью пластмассовых волос, символизирует эту никогда не утихающую готовность к предвосхищению обещанного взрослыми счастливого детства, – там, за озерами, на кромке заходящего солнца, брезжит слово «конец», – конец блаженной неспешности летних дней, – грохочет в ранце деревянный пенал, с грохотом откидываются крышки парт, скрипит мел, училка, шурша кримпленом, входит в класс, – недолгое воодушевление первого школьного дня сменяется монотонной скукой, – но есть хорошая новость, – мы давно вышли из этой витрины, и, пожалуй, уже не вернемся туда, к тесным пиджачкам, воротничкам, к тщательно продуманной системе поощрений и запретов, к виртуозно распланированной форме несвободы, преподнесенной дальновидными взрослыми в качестве аванса.

Ханука

Инфлюэнца – слово витиеватое, изысканное, прозрачное, как сегодняшнее небо. Холодная голубизна безусловно лучше унылой серости в ватных комках и войлочных потеках. Холодная голубизна декабря усмешается, дразнит, она будто намекает на то, что в жизни всегда есть место празднику, но праздник в декабре недолговечен, он заканчивается к четырем. Еще остается Пьяццолла, он хорош именно после четырех, ближе к вечеру, его рвущая сердце струна выжимает, выкручивает, вытряхивает, будто из старого сундука, письма, фотографии. Рассекает заштопанные небрежно прорехи, затянутые швы, и вот уже распластанный, молящий о пощаде декабрь у ваших ног – солнце ушло, только мандариновая россыпь напоминает о предвкушении, которое, как вы помните, имеет место в декабре.

* * *

Зима, точно ватный кокон, обертывает, укутывает, погружает в ранние сумерки. Сиди тихо, напеваешь, не суетись, – видишь – снежный ком катится? А за ним саночки? А на саночках краснощекий в цигейковой шубке? Не узнаешь?

Санки столкнули с горки, и вот он, этот головокружительный полет! Скрип полозьев, серебристое похрустывание схваченного ледяной коркой снега! Уши закладывает от скорости, отваги, сладкого ужаса. Скорость меняет отношение к бытию. Улица перестает быть скучной. На тебя летит старушка с бидоном, карапуз, похожий на космонавта Юрия Гагарина, столбы кренятся, порхают, дома отплясывают краковяк.

Подъезд принимает тебя, бывалого и отважного, впитывает топот ног, быстро растекающиеся лужицы, лязг металла по бетонным ступеням. Ты больше не равен себе, бледному домашнему растению, с опаской и одышкой (сквозь плотные одежды, тесемки, колючий шарф) взирающему в темноту лестничного пролета.

Улица становится притягательной, она влечет – неизвестностью, бесконечностью, непредсказуемостью событий. Она пугает (всегдашней чуждостью в сравнении с домом, всегда одним и тем же, с его понятными запахами, с его мирами, – как отличается, однако, светлая студенческая обитель родителей от темного, перенасыщенного горестями и шепотами пространства другой комнаты – и вправду далекого мира, в котором много странного, забавного, тягостного и печального) и окрыляет, потому что только там (за пределами стен) существует эта самая скорость, этот ветер в ушах, это сладкое чувство непринадлежности ничему и никому, отдельности, важности самостоятельно сделанного шага.

Вылепленный жестокими мальчишескими руками снежок летит в лицо, это больно, обидно, но времени на обиду нет, торопливо сброшенные варежки свисают на предусмотрительно подшитых резиночках, пальцы горят от холодного ожога, немеют, но вот он, триумф, – кривой колобок, тяжелый, как пушечный снаряд, летит вдогонку обидчику, и тут уже и вовсе некогда, не завопить «мама», да и кому вопить, окошко наглухо закрыто, еще и заклеено (будто бинтами) специальной бумагой и обложено (как страдающее ангиной горло) комками желтой ваты, и потому ничего иного не остается, как быть жестоким и отважным, выдыхающим вместе с морозным паром робость и беззащитность ведомого за руку.

* * *

Взрослые не вдавались в подробности, что за праздник такой. Но мне он нравился, этот странный праздник, который не отмечали ни в школе, ни по телевизору.

Во-первых, бабушка, таинственно посмеиваясь, звала меня в коридор и там, озираясь по сторонам, совала мне в ладонь рубль, а то и целых три.

– Спрячь, – шептала она, – чтобы старый дурак не увидел.

Старый дурак (да простит меня боженька), думаю, кое о чем все же догадывался, но помалкивал. Так что не такой уж он был и дурак.

Далее. Намечался торжественный поход в гости. Тесные нарядные ботиночки (красно-коричнево-кожаные) поскрипывали раздражающе. Ненавистное платье, которое я в приступе любопытства пыталась изрезать маникюрными ножницами. Долгое путешествие на трамвае.

Но уже во дворе пахло ванилью, вишней, сдобой, и торопливые шаги за дверью предвещали длинный-длинный вечер в самом теплом доме моей жизни.

И все было неважным и существующим в иной, параллельной реальности, в общем абсолютно и беспросветно чужой, – сад, школа, все эти безжизненные структуры и институты – все было неважным и бесконечно далеким от главного.

А главное было здесь, в старом подольском доме, за круглым столом, где по правую руку было добро, а по левую – любовь, по правую – дед Иосиф, а по левую – бабушка Рива. Остальное довершали книжные полки, настенные часы и маленькие ходики с гирькой.

* * *

В белом есть примирение. Внезапное успокоение, отрешенность, утешение. В пухлой белоснежной подушке тонут звуки. Можно вообразить себя буддийским монахом на склоне собственных лет. Врываются запахи, воспоминания. Если замереть (точно так же, как это делает природа), можно ощутить движение времени. Шорох секунд. Вращение жерновов. На засвеченной пленке проступают лица, силуэты. Праздничное мерцание лампочек.

* * *

Пожилой мужчина раскладывает пасьянс. Беззвучно перебирает карточки, тасует, меняет местами. Заносит кисть над внезапной перспективой. Будто управляет собственной жизнью, подсчитывает мгновения. Расставляет приоритеты. Не нужно ему мешать.

* * *

Хрупкие, точно елочные игрушки, воспоминания. Глаза ее полуприкрыты, с губ срываются слова. Смешные, почти невнятные. Птичий язык, нафаршированный звуками другой (за пределами твоего существования) жизни. Этого языка больше нет, как и этой породы птиц.

Она из местечка, и дед ее из местечка, и дед ее деда. Что там было? Две бакалейные лавки? Хедер? Синагога? Староста? Кантор? Резник? Я не могу прорваться туда, сквозь заколоченную дверь. Небрежно прорисованные углем детали – согбенные плечи, пыльные одежды, а вот и снег, укрывает неслышно, выравнивает, примиряет.

* * *

Сколоченный из фанеры ящик. С треском отсоединяется верхняя часть с торчащими скошенными гвоздями. Я вижу, как несет он его (на вытянутых руках) по проложенной между сугробами тропинке, как светится (ожиданием, предвкушением) лицо.

Я погружаю пальцы в благоуханные кущи. Мерцающие плоды, не отделенные от гибких ветвей и сочных листьев. Так пахнет канун. Цитрус.

* * *

Она закрывает глаза, вдыхая запах снега, заботливо собирает (за створками век) воспоминания – слева журчит позабытое птичье, справа – голубоватый свет уличного фонаря. Кто-то идет по тропинке, сгибаясь под тяжестью чуда. Чудо пахнет хвоей, мандаринами, вяжет язык, покалывает нёбо.

* * *

Вспомни подробность каждого движения. Она проступает из ватного кокона, удивленно ложится в ладонь. Невесомость. Детские пальцы познают (сквозь осколки, порезы) меру осторожности в любви.

На улице Заколдованной розы

Из подвала тянет сыростью – еще один признак близкой во всех отношениях весны. Помимо птичьего пения и обостренного обоняния, которое для утонченных натур отнюдь не дар. За окнами – чавканье мокрых подошв, стрекотание лап и голоса.

«В жизни всегда есть плюс и минус, видишь ли», – случайный голос за окном способствует отрезвлению и молниеносному переходу из мира беспорядочных сновидений в бодрствующий, но не менее хаотичный.

Голос на редкость мягок, доброжелателен, боже мой, какой музыкой может быть речь. Без привычного беззлобного матерка, без пьяного мычания, – видишь ли, душа моя, во всем есть плюс и минус, – носитель чарующей интонации удаляется вместе с голосом, унося тайну мироздания с собой, – все эти «мы не властны над», «послушай, дружок, а сейчас я расскажу тебе сказку», – волшебство начиналось с первых тактов, с внезапного щелчка, с поскрипывания и шипения иглы, протертой трепетно, допустим, одеколоном «Весна», – послушай, дружок, сейчас я расскажу тебе сказку, – сверчок, хозяин музыкального магазинчика, пан Такой-то, овладевал вниманием со знанием дела, с вкрадчивой неторопливостью гурмана, – исполнением желаний звучали названия улиц – Заколдованной розы, Миндальной, Клетчатой, Канареечной и даже Полевой мыши, «пан Теофас носил костюм коричневого цвета, а у пана Боло была розовая жилетка в мелких цветочках», – стоит ли говорить о том, что в нашей с вами тогдашней реальности мало кто мог похвастать хипстерскими жилетками и пиджаками *от...* – но интонации все же были, в них можно было кутаться, точно в клетчатый плед из ангоры, – журчащая с заезженной пластинки доброта вплеталась в уют того самого двора (за аркой), пока еще пребывающего в блаженном неведении относительно недалекого будущего, относительно недалекого – пока еще не подозревающего о реальности пластиковых окон и беспроводного интернета, – еще не разлетевшиеся по букинистическим лавкам добротные корешки выстроены вдоль прочных стен, еще скрипят дверцы – в них нафталиновые шарики перекатываются, охраняя от вторжения вездесущей моли, – у нас хорошие новости, панове, – с молью мы справились, у нас больше нет моли, как нет комода, стен и, собственно, времени – оно не течет привольно, а нарезается скупой, фрагментами, особенно ценятся обрезки, в них самый цимес, – украденное у самих себя откладывается про запас, – помните это «однажды»? «когда-нибудь»? – оно преследует смутной тоской, брожением, это отложенное на «когда-нибудь» время, изорванные лоскуты имеют странное свойство – трансформироваться в горсть бесполезного тряпья, кучу хлама, черепки, осколки, труху, пыль, – выигранное в жестокой схватке время уходит на бесконечную борьбу с пылью, – бесконечность – это пыль, усердно сметаемая веничком, дружок мой, – тлен, прах, – загляни под диван, буфет и книжный шкаф – видишь ли, душа моя, в жизни всегда есть место плюсу и, конечно же, минусу, добру и злу, любви и отсутствию ее, – банальные сентенции, вползая в форточку, обретают новое измерение, – со временем (о, это пресловутое «со временем»), – с каждым днем мы постигаем обратную сторону бесконечности, хрупкость, изменчивость постоянных, казалось бы, величин, условность обстоятельств, изнанку часов и минут, – но стоит закрыть глаза, и говорящие на странном наречии сверчки распахивают двери, и улица Миндальная перетекает в Канареечную, с нее идет трамвай, – щелчок, шорох, скрип, – так скрипят дверцы комода, шуршат книжные листы, струится пыль, разматывается время, – я вновь там, на улице Заколдованной розы, вслушиваясь в неторопливое: «В одном городе, в каком, я вам не скажу...»

Броня

Соседку зовут Броня, и ей нужно всего ничего. Пол-луковицы. Ее силуэт, внезапно вырастающий в проеме обитой дерматином двери, на обратной стороне которой красуются цифры, выученные наизусть. Что-что, а номер квартиры нужно помнить.

– Повтори: бульвар Перова, сорок два, квартира – какая? Правильно, восемнадцать (одна из цифирек перевернута, но это ни на что не влияет).

Соседка с умилением провожает меня взглядом:

– Какая смышленная у вас девочка!

Она втискивается в прихожую и жадно озирается по сторонам. Ей все любопытно – какие обои, где и почему брали, отчего мы не покупаем приличный сервант, зачем столько книжек, кто их читает – и льстивое: у вас ученый зять! Особенный человек! У меня глаз наметанный.

Забыв про луковицу, она сидит у кухонного стола, теперь ее силуэт вдет в другую раму – там перспектива окна, занавеска, уставленный разнокалиберными банками подоконник, бельевая веревка, протянутая через кухню.

Их диалог одновременно напоминает шорох от монотонного перебирания крупы и звук включенного радио – саднящий звук осторожного кашля (в нем бултыхаются Бронины внутренности), шепот (на всякий случай), повизгивающий бабушкин смех (как будто молящий о пощаде) – а она сказала, а он, а что он, ну и я ему говорю (она произносит «говору»), – шорох и вот это: *дз, дз, ши, ш, дз, грвр, грвр...* смысл утопает в звуках, и я с тоской думаю о том, что родители вернутся не скоро и все оставшееся время будет вот это *дз, дз, ш, гр*.

– Да? А я – терпеть? Да? – неожиданно звонко и молодо взвизгивает Броня, и шарманка в ее просторной груди издает резкий жалобный стон, и потом опять шорох, что-то елозит по столу, будто немая рыба с выпученными глазами.

Я слоняюсь по двору в поисках то ли подходящего камня (как любая нормальная девочка-сорванец), то ли зарытого в прошлый четверг клада; отбиваюсь от мучнистой Вали с третьего этажа. Она говорит «мясо», «папка побил», «верьевка» и трет свои маленькие оловянные глаза. Для меня это чуждый непонятный мир. Дома меня не бьют, а на стене висит завораживающая репродукция голой и странной женщины, восседающей на трехногом стуле. Хотя места в нашей комнатке до смешного мало, родители мои иногда танцуют твист и рок-н-ролл. Их молодые яркие лица не очень вписываются в облезлую раму, за которой однообразные пятиэтажные дома, гастроном с селедкой иваси и выброшенным по случаю зеркальным карпом.

Ведь это же не навсегда. Пятиэтажка, половички старухи Ивановны, бельевая веревка, трехлитровые банки, выстроенные в ряд, увитый зарослями несъедобного винограда балкон... Один и тот же повторяющийся сон. Подъезд, будто глубокий колодец, на дне которого погребены звуки, запахи, воспоминания. Расстроенный инструмент, в котором то и дело западают клавиши, застревает на одной и той же мелодии.

Я (будто скованная тяжкими предчувствиями) медленно поднимаюсь по лестнице и вижу (о ужас) все те же цифры на обитой дерматином двери. Одна из цифирек перевернута, но это, как вы помните, не имеет значения.

Голоса

Я когда-то поражалась – отчего это бабушке моей все не спится?

В четыре утра долгие пространные беседы у кухонного стола, причем такие довольно эмоциональные, с подтекстом и надрывом. Ну, там, слава богу, всегда был подтекст. Жизнь непростая.

Лишения опять же. Невзгоды. Тут одну войну как вспомнишь, не до сна, знаете ли. Не до бубликов с баранками. Опять же мастер Яша с четвертой обувной время от времени мерцает. Соседка-алкоголичка тетя Паша. Та самая, которая в ногах плакала, умоляла не уезжать. Куда вам с ребенком, Розочка, с дитем? В дорогу. А вдруг бомбить начнут? А кормить чем? Дите малое, чахлое опять же, к тому же единственное. Уж тут как-нибудь сообща. Не дадим пропасть. Кто коржик, кто коврижку. А в дороге что? Жмых один.

Ну да, права была тетя Паша. Жмых и был. Только и был, что жмых. И холод, и вши. Зато живы остались. Как выжили, не спрашивайте. И полы за тарелку горячего мыли. И балетки за пазухой выносили, чтобы, значит, дитя подкормить. Вернулись, а тети-Пашина семья уже тут как тут. В комнатке шестиметровой полуподвальной. Всей семьей. Зять пьющий, мрачный, пузо чешет. Дочь на сносях. Присмотрели за комнатой, значит. Чтоб чужим не досталась.

И вот сидит моя бабушка в четыре утра, жестикулирует, обращается со всем своим почтением к Всевышнему – смотри, Отче, дитя сберегла и сама (хоть и с туберкулезом) выжила, мир все же не без добрых людей, там тарелку супа, здесь кусок жмыха, в общем, уговор сдержала. Но и ты будь человеком. Как разделить неделимое?

Не знаю, что ей там отвечал Отче, похоже, ему все время было не до того. Манкировал бабушкиными просьбами и мольбами. Ну ясное же дело. У него там сотни окошек в чате. Мерцают, заклинают, благодарят. Чудны дела твои. Одно слово – Творец.

Не до квадратных метров. Не до мелких потуг.

Однако, с божьей все-таки помощью, и здесь выкрутились. Сколько радости от простых вещей! От кровати с пружинами. От никелированных шишечек. От платья с выточками где положено. От того, что жива. Пульс под белой кожей, шаг ровный, легкий. Куда вы бежите, девушка? Какая красивая! Девушка! Стойте!

В общем, бабушке моей Розе всегда было о чем поговорить со Всевышним. Там зажал, здесь недодал. С причудами дядька, забывчив по-стариковски, рассеян.

Вот так сидела она на кухоньке полутемной, свет не зажигая, и телевизора никакого не надо! Бабушка моя сама себе была телевизор и радио в придачу. Такие спектакли! Такие лица и голоса! Они у нее все в голове сидели. И рада бы избавиться, хоть ненадолго, но не тут-то было. Галдят и гудят. Будто места им другого нет, кроме ее головы. Иной раз до такого договорятся!

Боже вас сохрани узнать!

А тут уже и пять, слава богу. До шести совсем ничего. В шесть можно взять кошелочку, потертую на сгибах, пальтишко набросить, балетки – и на рынок. Самая вкусная клубника, если хотите знать, та самая, утренняя.

Проснешься, бывало, только потянешься (ах, как сладок утренний сон), окно раскроешь, а внизу – она. На скамейке. Бормочет, кивает головой. То так, то этак. С кошелочкой своей. Полной меда и молока. Сидит, ноги в балетках вытянув, ивовой веткой от мошкеры отмахивается.

Так вот отчего она не спала. Мошкара. Твари кровососущие. Иду на кухоньку, зажигаю свет, ставлю чайник. Сухари, если их в чае размочить, есть-таки можно. И голоса, слава богу, при мне.

Можно сказать

Можно сказать, что выросла я в скучном районе, застроенном пятиэтажками, совершенно одинаковыми, – но это как кому.

Вот я бы, допустим, ни за что бы не спутала свою пятиэтажку с соседней – там и подъезды пахли иначе, и стены были мрачней.

Наша была веселой. В первой парадной жила такая Таня, абсолютно бесстыжая Таня в такой бесстыжей юбке, и в нашей же располагался подвал домоуправления с шахматным кружком.

Можно сказать, что выросла я под книжной этажеркой – весьма хрупкой, или в палисаднике – не в первом, а как раз во втором, дальнем, – или на лугу, который тогда был лугом, а не новым микрорайоном.

Можно сказать, что выросла я на растрепанной книжке братьев Гримм, или на «Голом короле», или на «Неуловимых».

Или на скамейке под фонарем – с первым любовным посланием от Алика Б. из параллельного класса.

Или на похоронах Феликса, после чего мир не сошел с ума и не взорвался, и никто не отменил первый звонок и последний, а также морфологический разбор в конце предложения.

Или в лагере, в банный день, когда впервые увидела вожатую голой.

Или на дискотеке, когда приглашенные мною кубинцы продемонстрировали крайне неприличный танец, после чего процесс «взросления» охватил даже самые отсталые слои.

Или когда меня подстригли – и я весь день провела в шкафу, потому что все было кончено.

Или в гостинице «Советская», где мне, идущей по коридору школьнице в нелепых зимних одежках, улыбнулся взрослый мужчина лет двадцати?

Я затрудняюсь.

Может, все это был сон? И города, в котором я выросла, нет – ни на одной карте мира, ни в гугле, ни в яндексе, нигде.

* * *

Мне повезло. Я застала настоящие дворы. Помните дворовую стенгазету? Позор пьяницам и хулиганам, бездельникам и тунеядцам. Солидный дяденька-управдом в растопыренном на пузе пиджаке делает «ну-ну-ну» кактусообразному человечку в брюках-дудочках (чуть позже – клеш), с носом, исколотым торчащими в разные стороны иголочками. С тех пор я все-таки полагаю, что пьянство и тунеядство приводят именно к такой деформации носа.

Я застала дворовую стенгазету, товарищеские суды и синюю школьную форму.

Уже через год она стала коричневой, и надолго. Мальчики еще донашивали синие костюмчики из шерсти и синие же береты, но коричневый цвет постепенно вытеснял синий.

Школьные парты, те, первые, немного липкие от масляной краски, тесные, угрюмые, внезапно исчезли, уступив место изящным и легким. Исчез запах краски, но не мастики, – рыжие паркетины влажно блестели, и это был запах начала года, – астры, мастика, влажная тряпица или губка, которую перед уроком полагалось смачивать, выкручивать в туалете, – до сих пор испытываю стойкую неприязнь к мокрым тряпкам.

Ведь мы полагали, что живем в настоящем мире, и мир этот существовал всегда – парты, дворы, палисадники, доски почета и позора, управдомы в круглых соломенных шляпах, трехэтажное здание школы, грозная фигура завуча – женщины в костюме-джерси, строгом, но вполне женственном, одновременно скрывающем и подчеркивающим крутизну бедер и объем

грудь, – женщины со сложным именем-отчеством – Лионелла Викентьевна, – со сложным сооружением на голове – этакой медной башней, устрояюще покачивающейся при ходьбе.

Мы полагали, что все это навсегда. Пятиэтажки, бельевые веревки, игры в квача и штандера, в прятки и жмурки. Некоторые уверены, что прятки и жмурки – это одно и то же, – так вот нет!

Любая девочка, с утра до поздней ночи спящая по двору, назовет вам десять отличий. Все очень просто.

Если вы не стояли, прижавшись спиной к стене мусорки, если не сидели, затаив дыхание, за дверью подъезда, или под ступеньками, ведущими в подвал, не чертили крестики, стрелки, нолики, не метили асфальт таинственными знаками – ау, инопланетяне! только вам под силу понять смысл иероглифов, проступающих сквозь разломы в земной коре: «Смирнова – дура» или «Поля – жо...».

Если вы не жили в нашем дворе, то вы никогда не узнаете, чем прятки отличаются от жмурок, а казаки-разбойники – от «море волнуется раз». Игра в «представления» могла длиться часами – да что там, днями, неделями, – школа была всего лишь досадной помехой, но все-таки, все-таки...

В портфеле помещались – резинка, да-да, настоящая резинка, которую вшивали в обычные трусы, – но длинная, в худшем случае сшитая из многих маленьких, а в лучшем – цельная, упругая, натянутая, – предмет зависти и вожделения, – резинка, и не одна, пупс, ванночка, одежды, набор бумажных куколок, азбука со вставляющимися буквами – она была вкусной, эта азбука, и абсолютно бесполезной, так же, как и натужное «мама мы-ла-ра-му», – все это натужно-мычащее, оно казалось смешным бегло читающей мне, но тем не менее – азбука, а еще – грохочущий во втором, смежном отделении пенал...

Мы полагали, что все это навсегда, навечно – короткая школьная форма, старухи из первого подъезда, пыльная коробочка со свернутыми лентами диафильмов, клеенка в школьной столовой, – стаканы с киселем, поднос с пирожками, запахи перловки и яблочного повидла.

Я помню утро второго класса, сентябрьское, еще теплое, или позднее, уже после уроков, – мне полагалось часа полтора на проветривание головы, до приготовления домашнего задания на следующий день, – помню внезапно опустевший двор, шорох осенних листьев, шемящее чувство – тоски? одиночества? предопределенности? – предстоящей зимы, школьных будней, утренних завтраков, дневных обедов, проверок, контрольных, сложений, вычитаний, разборов, собраний, пришиваний и отпарываний воротничков, манжет, – впервые я ощутила укол, не зная еще, не подозревая о дозе, – она будет увеличиваться с каждым годом, с каждой новой осенью будет угасать уверенность в том, что все это навсегда, – лето, качели, царапина на локте, ссадина на ноге, заросли лопуха и крыжовника, стенгазета, мокрая тряпка у доски, паркет, откидывающаяся крышка парты, чернила на промокашке, расщепленное надвое перо и мычание за спиной, похожее на сон, страшный и одновременно сладкий, – *мамاملараму*.

Всадники

Неуловимые воспоминания обступают, перегружая подробностями, которые так и останутся с тобой, в тебе, – будто вспыхивающие язычки пламени или мерцающие на горизонте огни, то близкие, ясные, то далекие, смутные, – некоторым из них суждено прожить долгую жизнь либо же исчезнуть без следа, – надежда на некий безымянный банк памяти с заполненными и оцифрованными ячейками (помните детскую азбуку с уютными кармашками? в каждом по букве), – мое, твое, общее, – отдадим должное неизбежной погрешности, – вспоминая одно и то же, мы видим и слышим разное, – тени, углы, выступления, – в моем – запах макушки, нагретой солнечным светом, подушечки пальцев помнят жесткие кончики стриженных волос, тепло сонной щеки, след от горячих пальцев – то на стекле, схваченном морозом, то на песке.

Вон всадники на горизонте – из красного зарева проступают силуэты, с каким замиранием мы ждали их приближения, помнишь? – но за заревом оказывался натянутый белый экран, вспыхивал свет, с грохотом откидывались спинки неудобных кресел (наши скованные нетерпением и любопытством спины выдерживали все), и самым разочаровывающим оказывались лица идущих рядом, гуськом протискивающихся к выходу.

После сеанса неловко встречаться глазами – как будто все мы стали случайными сообщниками либо невольными свидетелями детской слабости, – но отчего же такая резь в глазах – и непереносимое желание обернуться, по буквам прочесть каждое вспыхивающее на тускнеющем экране слово, ладонью коснуться исчезающего – зарева, тумана, лошадей.

В мире безымянных пуговиц

Окно – точно портал в другой мир.

Кто помнит вату между стеклами, деревянную фрамугу и маленькую лисичку, довольно тяжелую, если взять ее в руки. Хотя, вполне возможно, что это такая собачка. Но все же я бы назвала ее лисичкой. И ни за что бы не выпустила из рук. По крайней мере тогда. Я обернула бы ее в ватный кокон и придумала историю лисичкиной жизни.

У меня была похожая. Или все-таки это была собачка... Да! Была такая собачка, хранительница ниток, иголок, наперстков и пуговиц. Собачка была довольно серьезной и всегда смотрела вдаль. Собственно, собачкин организм был неотделим от такой специальной круглой штуки для хранения всякой всячины. Ох и любила же я рыться в этой самой всячине! Одних наперстков было несколько штук. Я надевала их на пальцы и кивала ими, точно головами в шлемах. Это были такие суровые воины, хранители пуговичных тайн.

Среди пуговиц были у меня фаворитки. Например, крошечные золотые с хитрыми внутренними петельками – вне всякой конкуренции естественно, не иначе как принцессы, – не чета плоским, неказистым, цвета слоновой кости, явно срезанным со старого пододеяльника – эти, конечно, из челяди. Вызывающе яркие, точно пожарники, – алые, выпуклые, спесивые – вечно рвутся вперед, затмевая нежное свечение изумрудной не пуговицы даже, а так, овального камушка, из которого, по всей видимости, собирались воспитать приличную пуговицу, но так и не успели. Ни петельки, ни ушка, ни дырочек. Но самыми прекрасными были крошечные, янтарные, некогда украшавшие цыплячьего цвета и легкости кофточку. Ах, с каким замиранием я ласкала их, какие смешные прозвища придумывала. Что стало с ними, загадочно светящимися в утробе задумчивого пса? Ведь не могли же они исчезнуть без следа?

Что стало с пуговичной собакой из дома на улице Притисско-Никольской? Одна лишь мысль о том, что ее больше не существует, печалит меня. Она была довольно увесистой, с благородной тяжелой головой, и, скорее всего, в допуговичные времена выполняла роль пресс-папье.

При переезде на другую квартиру многие вещи теряются. Как бесследно пропали обезьяна Жаконя, пеликан, кукла Алиса (ах, что за кукла это была! – мечта любой девочки, она и была мечтой, пока однажды не оказалась в моих руках вместе с подаренными в день рождения «Королем Матиушем» и «Алисой в Стране чудес»).

Но пока... ничего этого еще нет и не предвидится. А маленькая гладкая лисичка... – мне кажется, с ней не так страшно, не так одиноко в мире безымянных пуговиц и бесполезных наперстков.

Лифчик

Лифчик был бумазейный, с тугими петельками сзади, с крохотными пуговками, которые с трудом втискивались в эти самые петли. Привычно поворачиваясь спиной, выпятив живот, сводила лопатки, предоставляя возню с пуговичками мужским рукам.

– Ну, пап, быстрее, мы опоздаем. – Чулочки натягивала уже самостоятельно, на них – смешные толстые трикошки (трико). Короткое платье доходило до середины этих самых трико – в общем, довольно неуклюже все это выглядело на маленькой девочке, но ей и в голову не приходило возмущаться нелепостью странной конструкции.

В углу терпеливо дожидались красные валенки с галошами – предмет особой гордости. Пыхтя, она втискивала ступню в валенок, послушно просовывала руки в рукава шубейки.

Как непросто давались девочке утренние подъемы, сборы, нервозность внезапно разбуженного и вечно опаздывающего человека, живущего по чужому и неудобному расписанию. Ватные ноги, тяжелая голова, вкус зубного порошка, медленно остывающий чай, который не то что пить – на который и смотреть было противно.

И все же череду мучительных подъемов затмевает одно зимнее утро (на самом деле их было много, но в памяти они слились в единое целое, безразмерное), белое безмолвие за окном, уют развороченной постели и эти полчаса, отнятые у сна полчаса истинной свободы (от исправно работающего механизма). Раскрытая книжка, которую читаем вдвоем – то ли по памяти, то ли по слогам. Нет, слово рождалось целиком, не поддавалось дроблению и расщеплению – за ним тут же (а то и раньше) возникала любопытная и вздорная козья морда, покатые лбы семерых козлят – прообраз утреннего эдема в складках пододеяльника и скудного света, оттеняющего долготу тишины.

Здесь она еще в пижаме, не стреноженная послушанием и зимними одежками, мучительно подробными, как будто специально неудобными, – вот-вот, со вздохом отложив книжку, коснется разложенного на стуле платья, но первое – лифчик (смешное слово, не правда ли, еще не обремененное взрослыми аллюзиями), пока что он плоский, полотняный, почти невесомый, – привычно сведя лопатки (откуда у маленькой девочки это движение?), она поворачивается спиной, терпеливо ожидая разрешения несложной задачи.

Впрочем, никто так и не заметит, как и при каких обстоятельствах исчезнет смешной и бесполезный (до поры до времени) предмет – наверное, вместе с чулочками, на смену которым придут колготки. Она многому научится. Протаскивать ускользящие, часто рыхлые, раздваивающиеся на концах шнурки в обметанные узкие петли, завязывать узелки – о, трогательность неловких пальцев, вновь и вновь сжимающих и с явным усилием вдавливающих ремешок или пуговичку. Коза и семеро козлят уступят место куда более ярким героям, – какое сладостное ощущение начала с каждой новой книжкой, новой историей, – теперь она справляется сама, без посторонней помощи. Слова резво оживают перед глазами, вспыхивают под пальцами. Иногда они читают вместе. Устроившись поудобней, она вдыхает знакомый запах.

– Да нет же, ты пропустил! – с балованным смехом указывает на оплошность, и он послушно читает, уступая ее требованию.

Всего полчаса. Полчаса, отнятые у сна и бодрствования. Она не знает еще, что у всего есть предел и эти самые полчаса уступят место чему-то непреодолимому и архиважному – торопливому пришиванию воротничков, дописыванию домашнего задания. Красные валеночки и галоши, с которых натекла небольшая лужица, еще не кажутся анахронизмом, но уже немного тесны, а новые кожаные ботинки, остро пахнувшие, довольно неудобные, хоть и качественно прошитые суровой нитью, еще красуются на витрине.

Клоун Пит

Весь клоун состоял из одной деревянной грубо раскрашенной головы, которую можно было нанизать на палец.

И это абсолютно его не портило.

Я могла вести с ним долгие, изматывающие диалоги. По уровню интеллекта Пит ничуть не уступал голой Марусе, пеликану Додо, обезьяне Жаконе и прочим персонажам с руками и ногами.

С Питом у меня были особые отношения. Если с Жаконей связь была чувственная (я любила тискать его, мять и обнимать и часто укладывала в своей постели), то Пит брал интеллектом.

Все-таки голова (в смысле, ее наличие) обяывает. Надев ее на палец, я задавала вопросы и получала пространные ответы. Об устройстве мироздания и прочих не менее важных аспектах бытия. Довольно часто из моего угла доносились странные звуки – попискивание и бас.

В зависимости от темы голова меняла тембр и тональность. Иногда брякала что-то совершенно не впопад, например в трамвае, лукаво выглядывая из-под краешка моей кофточки.

Голова была отчаянная, «без царя в голове» – да, звучит более чем странно.

Она бранилась, сквернословила, отпускала скабрзные шутки, а отдуваться за эти проделки приходилось мне.

– Граждане! Предъявите билетки! Трамвай идет на Подол! – Пронзительный петрушичий голос выныривал откуда-то из-под сиденья, до обморока пугая безбилетных пассажиров.

– Божечки, – неистово крестились трамвайные старушки, – я чую, шо воно каже, а повертаюсь, никого нема, – гражданочко, а вы чулы? Ни?

Пит, вовремя снятый с пальца, сардонически ухмылялся в кармашке платя.

Дорога предстояла долгая, трамвай, дребезжа, проезжал весь город, оставляя купола и днепровские кручи позади, и через пару остановок пассажиры принаравливались к странной девочке-чревоушателю с деревянной головой на пальце.

– Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой! – надрывалась голова во всю, так сказать, ивановскую, демонстрируя незаурядные вокальные данные и совершенно не согласовывая действия с окружающими и уж тем более со мной.

Детство мое официально закончилось с переездом на новую квартиру. Так получилось, что Пит вместе с Жаконей и голой Марусей остались в большом ящике с игрушками и были случайно выброшены (кем-то из взрослых) вместе с ненужным хламом на помойку. Я, конечно, горевала, но не очень долго. На продолжительные страдания у меня не было времени. В моду входили прыжки через резинку, «море волнуется раз» и черная рука на красной простыне.

Зато теперь-то я могу воссоздать всего Пита по атомам. Мне кажется, присутствие беспечно-жизнерадостного друга делает жизнь осмысленней.

Не парьтесь по пустякам, господа, – всем своим видом намекает он.

И предъявите билетик! Трамвай идет на Подол.

Ножик

*Ребе, у меня к вам дело. Вы, наверное, меня не знаете, а может, и знаете, я Ента, Ента Куролапа.
Шолом-Алейхем*

Кто из вас может похвастать тем, что, начитавшись Шолом-Алейхема, он узрел во сне саму Енту Куролапу.

Господи, кто мне только не снился! Например, Бася-швейка. Кто-нибудь знает, как она выглядит? Самое удивительное, что во сне ни Ента, ни Бася так и не показали мне своего лица. Но всюду были знаки их присутствия.

Вот как сегодня, например, – идя по заснеженной тропинке, я увидела знак. Пустые хлопоты, горшок пустой, горшок полный – все вокруг указывает на Енту.

Снов с Басей я несколько опасуюсь. Однажды (а было это давно) я встретила во сне одну знакомую, которая, заламывая руки, причитала: боже мой, ты знаешь, Бася-швейка умерла!!! Люди, какое горе...

Проснувшись от собственного воя, я долго сидела в постели, удерживая колотящееся сердце. Было мне лет десять, не больше. Такого неизбывного, сокрушительного горя я не ощущала, даже когда у меня украли специальный пластмассовый ножик для разрезания бумаги – ножик был цвета слоновой кости и так приятно покоился в ладони... Как же я любила его, и хранила под подушкой, и, время от времени просовывая туда пальцы, ласкала его гладкую рукоять.

Его украли. А потом я увидела точно такой же в руках у одного знакомого мальчика, – дело было в овощном, куда мы зашли с мамой выпить яблочного сока, – так вот, я даже сок пить не захотела, увидев свой ножик в чужих руках, свой возлюбленный ножик, наделенный характером, биографией...

– Это мой ножик, мам. – Я указала в сторону мальчика, надеясь, что мама предпримет хоть что-нибудь, спасет мое сокровище, выхватит его, разберется и справедливость наконец восторжествует.

Но, увы, мама не торопилась обличать вора. Она внимательно посмотрела на меня и сказала:

– Что ты предлагаешь? Подойти и забрать твой ножик? Устроить скандал?

Я взвесила все за и против. Вернуть ножик хотелось, но скандала не хотелось очень. К тому же силы были не равны. Мама мальчика, которая стояла рядом с ним, была в несколько иной весовой категории и явно не из тех женщин, которые добровольно идут на уступки.

Так мы и ушли, – конечно, я выворачивала шею и озиралась, но пластмассовый ножик остался воспоминанием. Зато потом, через некоторое время, мне подарили еще более прекрасный ножик, перочинный, перламутровый, голубой, – это была Песнь песней, а не ножик, тысяча и одна ночь, – его можно было гладить, открывать и закрывать (и сам ножик, и всякие чудесные полезные приспособления, встроенные в него), – история повторилась, он лежал у меня под подушкой и отзывался на самые легкие касания сонных пальцев, – господи, какое же это счастье – получить свой личный ножик, свое оружие в семь с половиной лет и уже на равных состязаться со взрослыми мальчишками, метко втыкая его в землю.

Увы, второй ножик постигла судьба предыдущего.

Я просто его потеряла. Там же, во дворе. Часа три, не меньше, я обыскивала все заросли, все кустарники, ощупывая землю, в ужасе думая о том, как сообщу дома об этой потере, – ножик был дорогим, рублей пять, – его мне подарил папа, и одна мысль о том, что самый ценный в мире подарок лежит под кустом, валяется, брошенный, на дороге...

Стеная и раскачиваясь, я шла к подъезду, воображая, как сообщу родителям о пропаже. На удивление, никто особо не всполошился, и вскоре под моей подушкой появился еще более прекрасный нож – красного цвета, он был побогаче предыдущего, это был ножик на все случаи жизни, он делал меня всеильной и неуязвимой... Если бы я помнила, куда он подевался однажды.

Но я, в общем, не о том, а о Басе-швейке, которую увидела во сне. Такого неизбывного горя... ну, вы понимаете, я не испытывала с тех самых пор, когда потеряла первый ножик, и ножик второй, и третий...

И потому, если меня спросят, – не спросят, конечно, но я все равно отвечу, – пусть лучше будет Ента, пусть она трещит без умолку, пусть стоит в дверях, протягивая пустой горшок, – это гораздо лучше, нежели какая-то швейка, которую я в глаза не видела, но которую надо почему-то оплакивать.

То ли дело Ента. Один из любимых персонажей, кстати, у Шолом-Алейхема. Болтливая женщина, которая битый час говорит о... Господи, да о чем угодно! О муже, сыне, о горшке, о мясе, которое в нем варилось... Горшок, курица, щепотка того, щепотка этого. Все это бесконечно важно простому человеку. Его надо уметь выслушать. Для этого нужно иметь сердце.

Люсик

В детстве все было важным. Мир слов не стоял особняком, он был живым и разнообразным, подвижным и вкусным. Он был страшным и потешным, неотделимым от сказочных чудовищ и скачущей на одной ножке Вальки с третьего этажа, которая говорила: «мясо», «верьевка», «пятерка», – от сумасшедшего Люсика с вороной на голове, который пробегал мимо, совсем как Кролик из «Алисы в Стране чудес». Только Кролик был джентльменом и бормотал по-английски, поглядывая на часы, свисающие на цепочке, а наш Люсик был огромным детиной в заячем треухе летом и зимой. Он бежал на полусогнутых, пугливо озираясь, обеими руками придерживая втянутую в пухлые плечи голову. Бормоча нечто невнятное – на каком языке, уже не вспомню, – возможно, это был какой-то специальный язык, полуптичий, полубожественный.

– Люсик, на голове ворона! Ворона на голове! – Завидев Люсика, играющие во дворе дети уподоблялись гончим псам и гнали несчастного, дразня невесть откуда взявшейся на голове вороной.

Был язык моей бабушки, которая оправдывалась: а я по-русски не очень, – но раздражалась такими историями... Вставляя словечки на каком-то смешанном, необыкновенно смешном, точном и выразительном языке. Ну, например, «шифлодик». Это вам не какой-нибудь шкафчик.

Была тихая Любочка из первого подъезда – сидя на нашей кухне, она бормотала, всхлипывала, причитала, – она была старая, всегда старая, больная, обиженная, – ее мир был маленьким, затхлым, печальным, но был он и пронзительно-смешным, такой смех сквозь слезы.

А еще был мир моей «летней» бабушки, руки которой пахли сушеной дыней и лавашем, глаза которой были глубокими, грустными, будто припорошенными пеплом. Ранним утром она заплетала свои косы, потом – мои... «Ахчик!» – кричала она вслед с растопыренной пятерней, но меня уже не было, только краешек красного в белый горошек платья.

Улица была важней – там торговали фантами, продавали сладчайшую газировку, ситро, носились на трехколесных велосипедах, делились жуйкой, раскрывали тайну деторождения, играли в пап и мам, во врача и больного, хоронили погибшего воробья, купали пупсов, шили одежды, – слова складывались из запахов двора, из звуков, из распахнутых окон, за которыми происходило ВСЕ.

Бушевал Валькин отец, растягивал гармонь Петро, добрый молодец с роскошным пшеничным чубом, кричала благим матом Криворучка, тонконогая и пузатая, с жидкой фигой на голове. За окнами ссорились, любили, вынашивали детей, воспитывали их громко, на потеху притихшему двору.

За окнами бормотали еврейские старухи: ложечку за папу, ложечку за маму. За окнами месили тесто, варили холодец, клубничное варенье, в огромных чанах вываривали белье, – тут главное не переварить, – вы сколько синьки кладете?

В сказках все было настоящее, как в жизни. Как можно было не верить в злых ведьм, эльфов и гномов, когда на первом этаже жила Ивановна, и была она страшнее всех ведьм вместе взятых? С маленькой головкой, обтянутой платком, поджимающая будто подшитые на скорую руку губы.

«Поздоровайся», – подталкивала меня в затылок мама, но я упрямо склоняла голову, опасаясь встретиться с крошечными недобрыми глазками.

В палисаднике за домом мы искали клад, я и еще двое мальчишек, – вдохновителем и организатором была, конечно же, я, – мальчишки сопели, разрыхляя влажную землю детскими лопатками, – мне, в общем, все было давно ясно, но я продолжала подбадривать землекопов довольно фальшивым голосом.

Вам это ничего не напоминает?

А еще были истории. Истории, ледящие кровь, о белых простынях, блуждающих в потемках руках и головах, – истории эти рождались на закате солнца. Истории передавались из уст в уста, обрастали новыми подробностями. Задрав головы, мы высматривали лунных человечков, абсолютно уверенные, что те, в свою очередь, наблюдают за нами.

Слова, как пузырьки из мыльной пены, кружили над нашими головами, порхали, как бабочки, испуганные, таинственные, чарующие.

Тудой или сюдой

К дому можно пройти *тудой* или, в крайнем случае, *сюдой*. Через гастроном, панельный серый дом, палисадник. Или через соседский двор, банду Котовского, инвалида на колесиках. Инвалид добродушный, когда трезвый. И очень страшный в пьяном состоянии.

– Колька бушует, опять надрался, – добродушно посмеиваются соседи, и я с любопытством и ужасом поглядываю туда.

О, сколько раз являлся ты во снах мне, заросший кустами смородины, мальвой и чернобривцами старый двор. Два лестничных пролета, и эти двери, выкрашенные тусклой масляной краской, и персонажи, будто вырезанные из картона, раскрашенные чешским фломастером.

Отчего Валькин отец черный, как цыган, и злой? Отчего он трезвый, и злой, и красивый? Отчего колотит Вальку, дерет как сидорову козу за любую провинность и каждую четверку? Отчего Валька, сонная, с квадратными красными щеками, похожая на стриженного под скобку парнишку-подмастерье, боится, ненавидит и обожает своего отца? Отчего мать ее, большая женщина в цветастом халате, из-под полы которого выступает полная белая нога, – отчего плывет она по двору, будто огромная рыба, огромная перламутровая рыба с плавниками и бледными губами, на которых ни улыбки, ни задора.

Отчего бушует Колька, скрежест железными зубами, рвет растянутую блекло-голубую майку на впалой, как у индейца, груди, – отчего слезы у него мутные и тяжелые, отчего грызет он кулак и мотается на своей тележке туда-сюда, бьется головой о ступеньки. Шея у него красная, иссеченная поперек глубокими бороздами. Отчего на предплечье его синим написано... И нарисовано сердце, пронзенное стрелой.

Мимо первого подъезда пробегаю торопливо, оттого что пахнет там водкой и «рыгачками». Валька называет это так. Тяжкий дух тянется, вьется по траве, добирается до нашего второго, не иначе как по виноградной лозе, прямо на кухню, где хозяйничает и кашеварит моя бабушка – бормочет и колдует над смешным блюдом под смешным названием «холодец».

– Шо вы варите, тетя Роза? – Голос у Марии звонкий и певучий, и сама Мария прекрасна, с выступающими скулами, икрами стройных ног, – прекрасна, как Панночка, жаркоглазая, она парит над домом, свесив черные косы. Они разматываются, как клубок, стелятся по земле, струятся.

Прекрасна в гневе и в радости, в здравии и в болезни, – прекрасна с седыми нитями в затянутых на затылке волосах, с красными прожилками в цыганских глазах, с паутиной лихорадки на скулах, – она расплзается в пьяной улыбке, прикрывая ладонью прорехи во рту. Сиплым голосом выводит куплеты – застенчиво прячет за пазуху червонец. Долго смотрит мне вслед.

Отчего Мария несчастна? Отчего, если свернуть *тудой*, то можно увидеть, как разворачивает крыло бабочка-капустница, как тополиный пух окутывает город, забивается в глаза, ноздри, щекочет горло.

Отчего так прекрасны соседские девочки, шестнадцатилетние, недостижимо взрослые, загадочные, с тяжелыми от черной туши веками, – пока я купаю в ванночке пупса, они уже отплывают в свою взрослую жизнь. Я завидую им, я различаю их запахи. Медовый, карамельный – Сони, щекочуще-дерзкий, терпкий, удушливый – Риты, сливочный, безмятежный – Верочкин.

Аромат тайны витает по нашему двору. Что-то такое, что недоступно моему взору, непо-стижимо, оно щекочет, и волнует, и ранит.

– Иди сюда, – говорит мне Рита, самая удивительная из всех, самая отчаянная, – воодушевленная «взрослым» поручением, я слетаю по лестнице, несусь по улицам, сжимая в кулаке записку. Я готова на все. Носить записки, беречь ее сон, думать о ней – не знаю, я готова на

многое, но это многое непонятно мне самой, что делать с ним, таким тревожным, таким безбрежным.

Рита носит чулки телесного цвета, и тогда ее длинные шоколадные ноги становятся молочными. Чулки пристегиваются там, под юрким подолом самой короткой в мире юбки. Когда я вырасту, то куплю себе такие чулки и такую юбку.

Пока я верчусь в темной комнате, вздрагиваю от наплывающих на стену теней, она выходит из машины, пошатываясь, помахивает взрослой сумочкой на длинном ремешке. Девочка в белом кримпленовом платье. В разодранных чулках, взлохмаченная, похожая на поникшую куклу наследника Тутти. Имя нежное – Суок.

Отчего бывает дождь из гусениц? Толстых зеленых гусениц? Они шуршат под ногами, скатываются, слетают с деревьев, щекочут затылок.

Хохоча, он несется за мной с гусеницей в грязном кулаке. Ослепшая от ужаса, я уже чувствую ее лопатками, кожей, позвоночником. «Вот тебе», – дыша луком и еще чем-то едким, пропихивает жирную пушистую тварь за ворот платья.

Его зовут Алик.

Когда-нибудь я отомщу ему. Я выйду из подъезда, оседлаю новый трехколесный велосипед. И сделаю круг вокруг дома. Круг. Еще круг, еще.

Отчего похоронные процессии такие длинные, такие бесконечные? Отчего так страшна музыка? Эти люди, идущие молча, в темных одеждах. Его мать в черном платке. Падает, кричит, вырывается из крепких мужских рук. А вот и Колька Котовский на колесиках. Слезы катятся по красному лицу.

Море стрекочущих в траве гусениц, зеленое, черное, страшное. Мир перевернулся. Отчего так страшно жить?

Тополиная аллея ведет к птичьему рынку, на котором продают все. Покупают и продают. Беспородных щенков, одноглазых котят, мучнистых червей. Топленое молоко, разноцветные пуговицы, сахарные головы.

Пока я расту, растут и тополя. Шумят над головой, кивают седыми макушками.

Если пройти *сюдой*, то можно увидеть очередь за живой рыбой, кинотеатр, трамвайную линию, бульвар, школу через дорогу и другую, чуть подальше, – а еще дальше – мебельный, автобусную остановку, куда нельзя, но очень хочется, потому что там другие дворы и другие люди, совсем не похожие на наших соседей. Туда нельзя категорически, потому что уголовники ходят по городу, воруют детей, варят из них мыло.

Если вызубрить точный адрес, все не так страшно.

Чужая женщина ведет меня, крепко держа за руку, – это добрая женщина с усталым лицом и полупустой авоськой. Она непременно выведет меня к дому, на мой второй этаж, – *туда* или *сюдой*, не суть важно.

Все дороги ведут туда, к кирпичному пятиэтажному зданию с синими балконами, увитыми диким виноградом.

Посланник небес

– Я посланник небес. – Немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стекла старомодных очков.

За стеклами угадывались крошечные беспокойные зрачки. В тот день шел дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь летела из-за угла, – поддувал неуютный ноябрьский ветер, и вид у посланника был совсем невеселый.

– Я посланник небес, – повторил мужчина и сильно качнулся.

Хорошо, что рядом стоял перевернутый ящик, – крикнув, посланник плавно опустился и уронил голову на колени. Сквозь давно не мытые пряди редких волос проступала младенческая кожа.

Мне стало страшно.

– Михаил Аркадьевич, – пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.

Нет, мы и раньше подозревали, что с учителем моим не все ладно – он часто опаздывал и переносил занятия, и, собственно, успехи мои на музыкальном поприще оставляли желать лучшего – дальше убогих песенок и корявых гамм дело не шло.

Начнем по порядку. Все началось с того, что к нам пожаловали проверяющие из музыкальной школы номер шесть. Класс разбили на группы, и каждую группу прослушивали специально уполномоченные дяденьки.

Деловито одернув подол школьного платья, я рванула дверь на себя. Акомпаниатор, полная яркоглазая брюнетка, вскинула голову и ободряюще улыбнулась.

Сейчас... сейчас я им покажу! (Надо сказать, до сих пор я абсолютно убеждена в том, что никто и никогда не исполнял эту песню лучше меня.) К девяти-десяти годам у меня прорезался голос – скорее низкий, нежели высокий, и радовала я своих домашних совсем не детским репертуаром, начиная с «Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой» и заканчивая «Вихри враждебные веют над нами». Так что, уж будьте уверены, внезапная музыкальная проверка не застала меня врасплох.

Откашлявшись, я отставила ногу чуть в сторону.

Брюнетка энергично ударила по клавишам и... Мне даже кажется, она не поспевала за мной, и высоченная, обтянутая джемпером грудь задорно подпрыгивала в такт громовым раскатам моего голоса, потому что от волнения (а я волновалась, как все начинающие артисты) я пела несвойственным мне басом (это потом уже, в музыкальной школе, окажется, что у меня альт, настоящий альт, тогда как у большинства девочек – сопрано, а у меня – серебряная трубочка, вставленная в серебряное горло, и называется она – альт).

– Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка! – Блистая глазами, я притоптывала ногой и, клянусь, если бы в непосредственной близости от меня оказался вороной жеребец...

Но жеребца рядом не было. Напротив сидели те самые скучающие дяденьки. Но это поначалу скучающие. Уже со второго такта лица их оживились – как будто некто невидимый смахнул влажной тряпчочкой пыль. Ближе к концу выступления дяденьки раздумянились и весело переглядывались друг с другом.

На бис я исполнила, конечно же, «Тачанку», «Поле, русское поле», «Орленка» (когда я пою «Орленка», то отчетливо ощущаю, как во лбу моем загорается звезда) и песню из «Неуловимых» (а тут я становлюсь одновременно Яшкой-цыганом, Данькой, чистым полем, звездным небом, вороным конем; я становлюсь синеглазой девочкой в белом платочке и Бубой из Одессы, я плачу и смеюсь одновременно).

Сморкаясь и утирая слезы (это были слезы восторга, дорогие мои), дяденьки долго расспрашивали меня о родителях, о том, что я люблю и кем хочу стать в будущем. Вердикт оказался вполне ожидаемым и ничуть меня не удивил.

– Скрипка! – Один из них сделал меланхоличное лицо, изобразив, видимо, таким образом, этот прекрасный во всех отношениях инструмент.

– Фортепиано, – широко улыбнулся второй; нос его лоснился, а толстые стекла очков затуманились. Я отметила несколько выступающие зубы и что-то кроличье в лице.

Можно сказать, что Михаила Аркадьевича я привела домой за руку, таким образом поставив недоумевающих родителей перед фактом.

Концертное фортепиано «Фингер» привезли через месяц. Покупка эта образовала зияющую дыру в нашем и без того весьма скромном бюджете, но родители, посоветовавшись, решили затянуть пояса потуже, и, знаете, элегантный чужеземец до сегодняшнего дня стоит у стены, изредка напоминая о себе глубоким вздохом все еще натянутых струн.

Я обзавелась нотной папкой и собственно нотами. Казалось, стоит откинуть крышку, водрузить ноты на попиртр, и чарующие звуки польются, пальцы побегут, и это будет так же прекрасно и незабываемо, как, допустим, финальная сцена в «Неуловимых». Увы.

В тот самый день, когда изящный (но все же громоздкий) инструмент стал членом нашей семьи (о, сколько радости от долгого ожидания, суеты, сдавленных криков «Левее! Правее! Осторожно, угол!»), – о, сколько благоговения перед этим заморским чудом, распахнувшим черно-белую пасть, – сколько надежд, увы, не оправдавшихся... В тот самый день, когда, коснувшись гладких клавиш (сиреневая, томная ля, нежно-голубая си, а до похожа на долгий-долгий понедельник), я замерла, вслушиваясь в постукивания невидимых молоточков по невидимым струнам... – в тот самый день жизнь моя превратилась в сплошной понедельник.

Детство кончилось.

Но тогда, ведя в дом (буквально за руку) этого немолодого, с розовеющими залысинами и набрякшими красноватыми веками мужчину, я об этом не подозревала.

Прихрамывающие гаммы, зубодробительные этюды, велеречивые и торжественные полифонии; портрет красноносого недовольного мужчины с оплывшим лицом в неопрятной бороде и распахнутом на толстой груди халате и напротив – портрет другого, степенного и округлого, с купеческим пробором в тусклых ровных волосах; уроки сольфеджио и музыкальной литературы, тоскливые сумерки, презрительный взгляд хориста, ненавистный третий ряд, в котором окажусь я единственная, с выжженным на лбу клеймом «альт», – все эти палочки и крючочки, скачущие перед глазами, дни и вечера, вечера и дни, а также... смятые трех- (пяти- и десяти-) рублевки... они порхали, кружились, таяли в глубоком кармане светлого плаща моего первого учителя.

В школу меня брали сразу в третий класс, условившись, что первые два я пройду за пару месяцев с уважаемым Михаилом Аркадьевичем.

– Не дадите ли авансом пять рублей? – Смутившись, мама нашарила в сумочке бумажку и неловко протянула через порог.

В следующий раз сумма аванса несколько возросла, но учитель так кланялся и шаркал ногами... От него странно пахло.

– Все равно он хороший, – упрямо склонив голову, я продолжала уверять домашних, что лучше Михаила Аркадьевича... И это несмотря на то, что во время уроков мне приходилось не дышать или дышать в сторону.

Пальцы его рук были толстоватые, неповоротливые. Точно клешни, двигались они по клавиатуре, исторгая звук странным царапающим движением. Звук был сухой, глухой, тусклый, как, впрочем, и унылые экзерсисы, которые нужно было пережить, чтобы дойти наконец до настоящей гармонии. Иногда с красноватого вислого носа моего учителя свисала прозрачная капля. Я терпеливо ждала, когда же она сорвется и упадет, но она все не падала. Коричневая дужка очков была старательно заклеена скотчем, а воротник пиджака густо усыпан перхотью.

Вместе с Михаилом Аркадьевичем в дом вползали тяжелые запахи чуждого мира. Как будто кто-то распахивал комод, в котором нафталиновые шарики, вещи, прожившие долгую

насыщенную жизнь, кисловатый запах кожи, мыла, резкий, цветочный – одеколона и тоскливый, красноречивый – долгого безрадостного бытия. Мне было жаль его.

В очередной раз одолжив десятку, учитель исчезал на неделю. Звонить было, как вы понимаете, совершенно некуда, и мы терпеливо ждали. Я открывала и закрывала нотную тетрадь, догуливала (не без удовольствия) последние сентябрьские дни...

– Я посланник небес. – Немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стекла старомодных очков.

В тот день шел дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь, поддувал неуютный ветер, и вид у посланника был довольно жалкий.

– Я посланник небес, – повторил мужчина. Его сильно качнуло.

Хорошо, что рядом стоял перевернутый ящик, – крикнув, посланник плавно осел и уронил голову на колени. Сквозь редкие светлые волосы проступала младенческая кожа.

Мне стало страшно.

– Михаил Аркадьевич, – пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.

Учитель поднял на меня блекло-голубые глаза, испещренные мелкими кровеносными сосудами.

– Валентина! – с неожиданным напором произнес он. – Я требую уважения, Валентина! – Он громко выдохнул, и облачко пара вылетело из его губ.

Я отшатнулась.

– Женщина! – Собрав, по-видимому, остаток сил, учитель поднялся с ящика и плавно взмахнул руками. – Иди домой, женщина!

– Я посланник небес, – повторил он, возвышаясь надо мной. Широкие его брюки трепетали на ветру, а тонкие пряди взмывали, образуя что-то вроде нимба над головой, – казалось, еще немного – и он взлетит...

– Дядь Миш! – Чей-то невнятный темный лик вынырнул из-за угла. – Иди до нас, дядь Миш. – Там, в глубине арки, которая вела к тыльной стороне гастронома и овощного, уже звякало что-то, блестело, булькало – так вмиг обратная сторона бытия открывается взору ошеломленного ребенка, бегущего вприпрыжку с зажатой монеткой в руке.

– Мишаня! Иди до нас! – Я отпрянула, вжав голову в плечи, и ринулась назад, к дому. Позади раскачивался силуэт моего учителя и его соратников, наверное таких же верных последователей Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.

В четверг, как ни в чем не бывало, смиренный и какой-то уменьшившийся в размерах, даже несколько усохший Михаил Аркадьевич вырос на пороге нашего дома.

– Не могли бы вы... – вежливо начал он, в широкой улыбке обнажая розовые десны и выступающие кроличьи зубы. – Не могли бы вы до полочки... авансом, богом клянусь. – Он улыбался и шелестел невидимыми миру крыльями, из тихих глаз его струилась совершеннейшая гармония небес – нежно-голубая си, сиреневая ля и длинная до, долгая, как долгий понедельник.

Мелодия

Далекие воспоминания становятся еще более дальними, размытыми, и место их занимают другие, яркие, свежие, но между ними образуется зазор, воронка, провал, и вот тут-то вспыхивает та самая лампочка, без которой немислим прошлый век, немислимы ранние сумерки (уже сквозит, поддувает из подворотен, уже маячит призрак зимы, то есть абсолютного обнуления всего), и щемящая нота (посыл оттуда, издалека) внезапно расставляет акценты, отсекает лишнее, обозначая тот предел, за которым уже не страшно.

Там тоже жизнь. Но другая. Едва уловимый привкус забвения, долгого сна, в котором пестрые гирлянды и сверкающая мишура детского праздника (без него нам не выжить, все это знают, и ты, и я) удлиняют и без того бездонную ночь, и мерцание далеких окон создает иллюзию жизни, присутствия (эй, кто бы ты ни был, отзовись) и отсутствия (ветер сбивает с ног, фонарь раскачивается, жизнь теплится из последних сил).

И тут входит он. Этот человек. Или его силуэт. Или воспоминание о нем. Или след воспоминания (как будто некто касается клавиш, рискуя сбиться с главной темы). И долгий звук (то ли расставания, то ли надежды, то ли сожаления или же всего сразу) прорвет слепую пленку тишины, и вспыхнет свет (тот самый, из октябрьских теплых дней, из шороха и всплеска листьев, слов, всего того, что между ними), и это будет та самая мелодия, которую ты вспомнишь, закрывая глаза.

Обратная сторона Земли

Там, с обратной стороны Земли, люди ходят вниз головой. Нет, не то чтобы совсем вниз – только по отношению к нам, идущим как положено. А вот по отношению к ним вниз головами ходим уже мы. Ходим, торопимся, смеемся, грустим.

Какая из сторон обратная? А вот обе. Абсолютно обе. Говорят, там живут наши двойники. Живет, например, точно такая, как я. Интересно, неужели и платье у нее мое, красное в белый горошек, и голый пупс в ванночке, и заросли дикого винограда выются с балкона первого этажа? Неужели длинный пятиэтажный дом, в котором живут обыкновенные люди? А может быть, там, с обратной стороны, люди эти ведут себя по-другому – вежливо раскланиваются при встрече и говорят по-китайски. Потому что Китай – он тоже примерно там находится, и двойник мой – дивная китаянка, живущая в бамбуковой хижине, а вовсе не в пятиэтажном доме на улице Перова. И Люсик – китаец, и Рыжая Галоша, и учительница младших классов, маленькая старушка в шерстяном платке.

Зовут ее Дина Хаскелевна. Некрасивая, сгорбленная, она возникает на пороге, улыбается, кивает седой головой. Передвигается неслышно, в обрезанных войлочных сапожках. Ходит, будто утюжит натертый рыжей мастикой пол, вжик-вжик.

– Однажды, – произносит она – и выпускает из-под платка маленькие уютные ручки, – однажды, – говорит она тихо, так тихо, что слышна жужжащая за окном муха, – однажды в одной стране жил фараон.

Когда я слышу слово «однажды», меня два раза упрашивать не надо. Сорок пять минут пролетают как одна, и к дому я иду медленно, стараясь не расплескать это «однажды». Фараоны, их жены и сыновья, голодные и сытые коровы.

Медленно ползет караван по обратной стороне Земли. На золотой колеснице восседает многорукий фараон, а за ним тащится голодная корова. У коровы тощее иссохшее вымя и налитые печалью глаза.

Я горделиво озираю окрестности. Все эти люди – мои подданные. Подданные моего королевства. Старушки на скамейках, небритые мужчины у ларьков, заспанные продавщицы. Распушие у обочины васильки, примятые листья подорожника. Им и невдомек.

Ведь настоящий король, он всегда немножечко нищий, он такой... специальный король, внутренний. Он может спокойно прогуливаться по бульвару Перова и пить трехкопеечную газировку. Настоящий король ничем не отличается от своего народа.

Только однажды... Вы слышите? Однажды...

Кто-то хватает меня за ворот платья. Визжат тормоза.

– Ты что, ослепла? Куда прешь?

Огромный детина в полосатой тенниске выскакивает из кабины грузовика. Он озирается по сторонам, и лицо у него растерянное, пунцовое.

– Ты хоть понимаешь? Мне что, в тюрьму из-за тебя садиться? Ты где живешь?

Живу я напротив и всякий раз, переходя через дорогу, смотрю на наши окна. Я жила здесь всегда.

Дом – это такое место... В общем, оно навсегда. Щербатые ступеньки, скособоченный почтовый ящик, обитая дерматином дверь, падающие с дерева марельки. Такие маленькие твердые абрикосы. Их можно есть зелеными, так же, как и кислоющие райские яблочки. Яблочки скатываются под ноги, ударяют по макушке.

Отсюда никуда не уезжают. Разве что однажды... Навсегда алкоголичка дядя Степа. Иногда ее называют старой перечницей. Ну, старая – это понятно. А почему перечница? А потому что нос у нее – огромной картофелиной, мясистым мятым перцем, да еще и в таких забавных черных крапинках и глубоких рытвинах. Иногда пахнет от нее странно, очень странно.

Покачиваясь, стоит она на ступеньках, улыбается мягкой, слезливой, неприятной улыбкой. Морщинистое лицо разрезается в стороны. Заплывший глаз закатывается под самый лоб, а нос, – он уже не перец, а целая груша, – раскачивается над подбородком – туда-сюда.

Дядя Степа озабоченно роется в черной, истертой на сгибах кошелке. Пахнет от кошелки чем-то тяжелым, удушающим.

– На вот, деточка, возьми ириску.

Ириска липкая, пачкает ладонь. Я осторожно кладу ее на подоконник в пролете второго этажа.

Там, с обратной стороны Земли, похожая на меня девочка в перекрученном черном фартуке так же медленно поднимается по ступенькам. А та, другая, семенит в сторону гастронома, раскачиваясь на ходу вместе с носом и потертой кошелкой. Когда-то ее звали... Впрочем, это неважно. Когда-то ее звали женским именем. Простым и благозвучным.

Однажды в одной стране жил фараон. У него была золотая колесница и прекрасная жена. Колесница колесила по прекрасной, волшебной стране с бесплатной газировкой (три копейки стакан), бесплатными жареными семечками и бесплатным кремом от бисквитного торта. Кремовые завитушки, похожие на собор Василия Блаженного (я видела на открытке). Там, в этой волшебной стране, каждой старушке полагалась куча ирисок «Золотой ключик». Только успевай. В распахнутые кошелки сыпались конфеты, леденцы, шоколад. Каждой старушке полагался эскорт из вежливых девочек и мальчиков в ослепительно-алых галстуках.

Эскорт переводит старушек через дорогу и отдает честь.

– Я миленка полюбила, я миленку отдалась! – Так и есть – хлопает входная дверь, это возвращается совсем веселая дядя Степа. То есть теперь ее веселье немножечко буйное, опасное даже. Она спотыкается и произносит слова... Это такие слова, которые не следует повторять детям. Чертыкается и спотыкается снова.

– Я миленка... – Она стучит в собственную дверь. – Открой, курва старая, открой, – садится на ступеньки и плачет.

Странно, в однокомнатной квартире дяди Степы никто, кроме нее самой, не живет.

Я припадаю к замочной скважине и вижу, как шарит она по дну кошелки в поисках ключа. Всхлипывает и сморкается прямо на пол.

Однажды в одной стране жили одни люди. Обычные люди. Обычные, да не совсем. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях, спускались по ступенькам. У них, у этих людей, все было как у нас. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», кремовые завитушки и полные жмени жареных черных семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комод, в стопках глаженого белья.

Белые шарики нафталина. Несметные орды клопов. Полчища рыжих тараканов. Алюминиевые кастрюли, чугунные сковородки, деревянные прищепки. Мастика. Никелированные шарики кроватей, группы продленного дня. Дворовая стенгазета, шахматный кружок. Метро, самое красивое в мире. Статуя пионерки с отбитым носом. Горн, построение, поднятие флага. Политинформация, товарищеский суд.

Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой. На противоположной стороне Земли, разумеется, от нас, идущих головами вверх.

Осколок

«Глянь, как зыркает. Я те позыркаю. Смотрит как волк. Нехристь». Таков был вердикт этих достойных женщин. Большая часть из них говорила на суржике, закалывала на затылке жидкую дулю, и все вместе они слились в одну полную, на тяжелых ногах, которая, кряхтя, моет полы, говорит «дывысь» и не любит меня. Просто не любит. Почему-то не любит меня, ту, которую любят папа, мама и бабушка.

К сожалению, я не очень помню. Вдруг они все-таки любили других детей. Но если бы это было так, наверняка я бы об этом помнила. Нет, не было никакой любви в мире унылых каш и тягучих киселей. Не было ее в баке с компотом из сухофруктов. Не было в толстом омлете, в жидком гороховом супе, в синеватом картофельном пюре.

Не было ее в глубоком бидоне, который волокли по коридору две хохочущие (не для меня) нянечки. Ни в тихом часе, ни в мертвом свете зимних ламп, ни в новогоднем утреннике, ни в молочных пенках, над которыми роняла я слезы неподдельного и неизбывного горя. Ну откуда же было им знать, что у нехристи этой наверняка непереносимость лактозы! И было ли в их лексиконе слово такое – лактоза?

Пытаюсь вспомнить лица. Хотя бы одной. Нет, не было лиц. Круглые расплывающиеся блики, пятна, громоздкие силуэты. Отчего старуху Ивановну с первого этажа я помню в мельчайших подробностях, отчего помню горбатую Любочку из соседнего подъезда? Я даже помню ее зятя и дылду дочь, и даже маленького несчастного Илюшечку помню.

Я помню стриженную под горшок девочку Валу, которая говорила «мясо», «дадишь», «верьевка», я помню тяжелую дверь подъезда, и как она открывалась (сопротивляясь холоду) зимой, и как ударял в грудь и лицо острый воздух.

Я помню тягучее слово «ангина», горло, обложенное пленками, жжение горчичника под лопаткой и этот густой ненавистный запах его (сквозь жар и бред). Пальцы нащупывают обезьянку (о, сколько в Жаконе любви, с какой готовностью она, то есть он, прижимается ко мне), иди же сюда, мой маленький дружок, я расскажу тебе сказку. Рассаживаю полукругом кукол, читаю им книжки. Книжки-растрепки, – смеется папа, и в этом столько любви.

В комнату wpłyвает малиновое облако, оно накрывает меня, вынуждая глотать, о, как больно и сладко, как горячо. Чьи-то руки взбивают, переворачивают подушку, вытаскивают градусник. Прохладная рука на пылающем лбу.

Я не пойду в садик? И в школу не пойду? Ни завтра, ни даже в понедельник? Ведь ты не дашь им забрать меня, этим чужим людям из казенных домов со слепыми окошками?

Мама смеется, качает головой, она разрешает мне оставаться в постели с Жаконей сколько я захочу (в то зимнее зябкое утро), из кадра уходит тягостная повинность, и это безусловная любовь. Утешенная, распаренная, забываюсь, не выпуская маминой руки.

Помню осколок разбитой чашки и чувство непоправимого. Какое тяжелое, давящее детское горе. Как теснит оно грудь, как жжет под ресницами.

Вечер. Бабушка наряжает меня в какие-то «гости». К каким-то ее (их с маминым отчимом) знакомым, в темные улицы, в душные комнаты, во что-то чужое и неприятное мне. Там накрытый темной скатертью стол, лица, которые я не помню, зудящие голоса и тяжкая, монотонная, непереносимая скука. Я даже готова идти в сад, лишь бы не ходить в эти «гости», к незнакомым вздыхающим людям. В тот вечер все темное, все ненужное, от глубокой тоски мне хочется громить и кромсать все вокруг, и я хватаю тупые ножницы и с наслаждением высверливаю дыру в нарядном и тесном платье.

Ах, сколько любви в солнечном свете! В виноградной лозе, опоясывающей синий балкон. Я купаю пупса, переворачиваю его так и этак, обертываю носовым платком, вытираю насухо.

Немного важничая. Конечно, мой пупс точно такой, как у других девочек. Все точно такое. Ванночка, пупс, какие-то обрезки материи. Это целая жизнь. Огромная летняя жизнь.

Мне выносят стульчик на улицу, во двор, и я воображаю себя билетером. Как будто подъезд – это кинотеатр. Я раздаю билетки. Люди смеются моей изобретательности. Кто-то хвалит – какая сообразительная. Я важно нарезаю бумагу квадратиками и пишу на ней буквы. Это ваш билет, говорю. Пятый ряд, седьмое место.

Почтальонша смеется, поблескивая металлом. Что-то беспокоит меня. «Мама, у всех бывают железные зубы? Ведь это же так некрасиво!» Впрочем, у многих встречаются золотые. Полный рот золота. В нашей семье ни у кого нет ни золотых зубов, ни железных, и это несколько утешает меня.

Вечер. Родителей нет, их так долго нет, что я ощущаю сквозняк. Сиротство. Особенно когда бабушка пытается накормить меня булкой, размоченной в молоке. Если вы хотите сделать вашего ребенка абсолютно несчастным, накормите его тюрей.

Бабушка, сейчас (кричу я) такое не едят! Это старая еда! Это для старых! Для железных зубов!

Булка плавает в молоке, будто распухшее шестипалое чудовище. Я слышу, как тикают ходики, как одиноко тикают ходики, как надывается изношенный часовой механизм, приводящий в движение Вселенную.

– Мирзолзайн, – говорит бабушка, и я забываюсь горьким и беспросветным сном. В этой соседней комнате (которая как другое государство со своими законами и порядками) живут другие сны. Они тяжелые и душные... Стараюсь не думать про розовую челюсть (бабушкиного мужа), которая плавает в стакане с мутно-белесой водой. Сквозь прикрытые веки наблюдаю за бабушкой – она бормочет, вздыхает, то сидя на стуле, то тяжело ступая по полу, переставляя, перекладывая какие-то предметы. Это как долгий безутешный плач, как жалоба, которая останется безответной.

Одна надежда на утро. Я вернусь в наш светлый, залитый солнцем мир, в котором книжки, растрепанные журналы и ленты от бобинного магнитофона. Там нараспашку окна, там пахнет яичницей-глазуньей, там юные люди танцуют твист и ча-ча-ча и почему-то смеются, глядя на стоящую в пижаме сонную меня.

Бульвар Перова, 42

– Ну, иди уже сюда, горе мое. – Расставив полные ноги в балетках, баба Роза придирчиво наблюдает за неистовыми прыжками по асфальтовой дорожке. – Ну, уже иди сюда. – Она еще шире раздвигает ноги, изготовившись сомкнуть их на моей вертлявой талии. – Первое, – высморкаться – вот так, не жалея, я же слышу, у тебя там осталось, – второе – не бегай ко второй парадной, – кто там сидит? кто? – умничка моя, золотко, – пра-авильно! – баба с кастрюлей на голове и баба Череп, а еще кто? – Хромая Люся, Петрова с противоположного дома, мало ей своих скамеек, и Криворучка.

Клятвенно пообещав не бегать ко второй парадной, я наблюдаю за тем, как медленно всплывает бабы-Розина спина в дверной проем, – авоська с селедочными хвостами бултыхается у сливочных икр, – стоит роскошная середина южного лета, и баба Роза не носит чулок, а надевает балетки на босу ногу – не балетки, а чистое наказание, жмут в пальцах, натирают нежную кожу.

Если бог создал рай, то рай находится где-то здесь – между первым и вторым палисадником приблизительно, в сени огромной акации, на примятой, растущей как попало траве, окруженной кустарником, в спутанных ветвях которого нет-нет да попадаются кислые сизые ягодки – есть их категорически нельзя, от них могут вывалиться глаза, вырасти волчья шерсть и клыки, но разве ж можно удержаться и, зажмурившись, не прокусить тонкую синеватую кожу...

Про рай баба Роза, конечно же, не догадывается и потому строго-настрога запрещает переходить из первого палисадника во второй – ведь всем давно известно, что по городу ходит банда и крадет маленьких детей, и даже таких непослушных, со сбитыми коленями в зеленке. Что делает банда с маленькими девочками, баба Роза не уточняет, но именно то, что она деликатно не договаривает, волнует и будоражит мое воображение.

Конечно же, баба Роза и не подозревает о том, что она давно уже не является единственным источником информации и истиной в последней инстанции тем более. С некоторых пор я снисходительно отношусь к ее историям, потому что она уже старенькая и многого просто не понимает.

То, что баба Роза уже старенькая, не может не печалить меня, мне кажется, что старость – это что-то постоянное, ведь я никогда не видела бабу Розу молодой. Баба Роза старенькая, и она может умереть – как, например, Танькина бабушка с третьего этажа.

Уже засыпая, я вижу процессию, плывущую вдоль дома и выплывающую на бульвар Перова, и слышу торжественную оглушительную музыку, – а-а-а-а-а-а-а, – кричу я и просыпаюсь и долго вслушиваюсь в свист и храп, доносящийся с высокой кровати. Баба Роза храпит так, как может храпеть только *очень живой* человек, – она храпит не однообразно, а весело – с нежными переливами, с бульканьем, с клокотанием, и это гораздо страшней, чем скорбная процессия и играющий вразнобой оркестр, – баба Роза, шепчу я, – баба Роза, мне плохо, я умираю, проснись...

Если бог создал рай, то он позаботился о том, чтобы в раю было вечное лето – оно еще бывает бабьим, но я в этом мало что понимаю, – в этом году бабье лето, – сообщает мне баба Роза, и это значит, что до резиновых бот и красных валенок еще целая вечность, а пока можно охотиться за жуками, обкладывать разноцветными стеклами «секретики» и прятаться за мусоркой, вжимаясь спиной в крашеную известью стену.

Можно играть в «казаков-разбойников», выбрав в пару самого отчаянного мальчика двора, и однажды взлететь на подножку уходящего неведомо куда автобуса, и очутиться в незнакомом районе с точно таким же гастрономом и такими же пятиэтажками, и долго блуждать по чужим улицам, повторяя, будто заклинание, вызубренное однажды и навсегда: «Бульвар Перова, 42, квартира 18».

Если бог создал рай, то он населил его старушками, восседающими на лавочках у первого, второго и третьего подъезда. Эти старушки, кивающие головами в разноцветных платках, знают обо мне все – что я бабы-Розина внучка, что я уже «совсем выросла», что вчера у нас были гости, что родители у меня не такие, как все, что «они армяне», что они, страшно сказать, «евреи», – не слушай их, – сжимая мою руку, баба Роза подымается по ступенькам, – ну армяне, это так же непонятно, как индейцы, – я распускаю косы и издаю победный клич – хей-о!!! – недавно меня водили на «Виннету-вождь-апачей», после чего я решила, что интересней всего быть индейцем, индейкой то есть.

С индейцами все ясно, они благородные и сражаются против белых, но евреи? Если евреи – это баба Роза, и баба Рива, и дед Йосиф, то против кого сражаться им? И смогут ли они сражаться? Смогут ли они действовать слаженно и бесстрашно против неведомого врага?

У бабы Розы вставные зубы, на кухне она часто сидит у окна и разговаривает сама с собой, ведет долгие беседы, кивает головой и пожимает плечами.

Она вспоминает эвакуацию, понимаю я, и пристраиваюсь в уголке с книжкой, но листаю ее рассеянно, потому что монолог бабы Розы гораздо интересней, гораздо, – он страстный, гневный, умоляющий, напевный, – в нем баба Роза сводит счеты с кем-то явно всесильным и всезнающим, но каким-то бесчувственным, что ли...

– Ты слышишь? Ты слышишь меня? – вопрошает она и сладко прикрывает веки, – всего на секунду забывается, а потом вновь заходится, соединяя обрывки слов, междометий, – горестно раскачивается на хрупком табурете, складывает щепотью пальцы и прикладывает их к груди.

– Они хитрые и жадные. – Танька Мороз поглядывает исподлобья и добавляет: – И богатые.

Таньку Мороз я знаю сто лет, мы сто раз ссорились и мирились здесь же, под старой акацией, но поводом для ссор были гораздо более серьезные вещи, например немецкий пупс с гибкими ручками и ножками и ярко-красным морщинистым ротиком, а еще набор пластмассовой посуды для крошечной кухни, а еще – прозрачные наклейки с изображением ягод, а еще – жвачка, которую мы жевали по очереди до тех пор, пока она не превращалась в серую клейкую массу.

Жевать жвачку в одиночестве, согласитесь, просто смешно – во-первых, об этом мало кто догадается, во-вторых, так приятно, так здорово мять в пальцах толстую серую гусеничку, раскатывать колобок, делить его на две, а то и четыре части. Жевать испуленно, поглядывая друг на друга с ликованием заговорщиков... Хочешь жуйку? – небрежно выдуть огромный пузырь, втянуть его обратно и жевать, жевать, жевать...

– А ну, дай сюда. – Баба Роза шарит под подушкой и заставляет открыть рот. Больше всего она боится, что я так и усну со жвачкой, и тогда, не про нас будь сказано, – она горестно качает головой и рассказывает ужасный случай про одну глупую девочку.

Они хитрые и жадные, – ну, что-то в этом есть, – я ловко прячу свое сокровище в наволочку и засыпаю под тиканье ходиков, так и не дослушав ужасную историю до конца.

Утро начинается с истошного «вейзмир», потому что волосы мои, от природы и так не слишком послушные, оказываются склеенными намертво. Я шарахаюсь из стороны в сторону, уклоняясь от густого гребешка, понимая, что не избежать мне судьбы одной глупой жадной хитрой девочки, голову которой обрили и густо обмазали зеленкой. А потом продали в цыганский табор, водили по улицам и показывали за деньги.

Синие трико

В старой квартире через кухню была натянута бельевая веревка, а на ней сушились именно они. Беззастенчиво распяты, они парили над головами и шлепали по макушке каждого проходящего под. Хозяйкой трико была молчаливая Дора; кто и когда назвал ее молчаливой, ума не приложу, но факт остается фактом – рот у Доры не закрывался двадцать четыре часа в сутки. Утро начиналось с нее, и день заканчивался ею же. Она комментировала все – собственные действия, действия окружающих, свои мысли о предполагаемых действиях и впечатления от увиденного.

– А! – восклицала она, делая большие глаза. – Это та, у которой ни копейки, а с рынка полные сумки тащит. Эй! – вопила она, высунувшись в форточку. – Почему вишни? – Голос у нее был хриплый, как будто она еще не прокашлялась спросонья, и хотелось взять ее за ноги, за две большие массивные ноги, и хорошенько потрясти, словно грушу. – Почему вишни? Сколько купила? А крыжовник почему? – Развернувшись, она сообщала только что услышанное, увиденное и добавляла от себя парочку-другую эпитетов.

– Десять – кило, ведро – двадцать рублей, – бормотала она, наморщив лоб. От этого она становилась похожей на бухгалтера из домоуправления. Не хватало только синих нарукавников и круглых очков с перебинтованной дужкой.

На сумки она налетала, будто хищная птица, – профиль ее алчно нависал, а глаза так и шныряли.

– Ай-ай, – стонала она, причмокивая, – вишенки, только дорогие, на мою пенсию не разгуляешься. – Веки ее скорбно прикрывались, но глаза под ними не переставали перебегать – с вишен на крыжовник, с крыжовника – на яблоки, – она, разумеется, пробовала и то, и другое, и даже третье, – скривившись, швыряла в ведро огрызок. – Фе! – шо-то кислое, как не знаю что, – деньги на ветер! – выносила она вердикт и стремглав неслась к окну.

Она знала все и про всех. Кто когда женился, у кого кто болеет, кто завел интрижку на стороне и кто собирается разводиться. Она чужая близкую кончину и рождение – да что там, она рождалась и умирала с каждым, не прекращая комментировать. Самое ужасное – ее невозможно было выключить, как радио, – малейший намек на «многоговорение» вызывал вспышку смертельной обиды – молчаливая До обращалась в соляной столп и делала жест, которым якобы зашивает себе рот.

– Ни слова! – как будто произносила она, яростно вращая зрачками, – больше ни слова вы от меня не услышите – но от кого тогда вы узнаете о ценах на ягоды и на гречку, об урожае и прогнозе погоды, словом – обо всем! Кстати сказать, молчание Доры было еще страшней, чем говорение. Молчала она страстно, виртуозно – как хорошая драматическая актриса, она держала паузу...

Но не уходила!

Она продолжала присутствовать, всем своим видом напоминая о себе, – откашливаясь, в тысячный раз прохаживалась тряпкой по кастрюлям, горестно заглядывала в шкафчик, укоризненно вздыхала и – молча! – стояла у окна. Можно только представить себе, каких невероятных усилий стоило ей молчание! Казалось, слова клокочат и трепещут в ее просторной груди, подкатывают к гортани, щекочут язык... Молчание ее становилось воистину непереносимым! Оно было огромным и заполняло собой все пространство кухни. Все отчего-то принимались ходить на цыпочках.

Сопя, она раскладывала на доске курицу и молча принималась за разделку. Это было то еще испытание. Наточенное лезвие порхало, ошметки взлетали, и, верите ли, это было ужасно. Ужасно было не слышать сладострастного бормотания: ай, какой пупочек, ай, крылышко, ай, шейка!

Но я не об этом. Я о трико. Все это время синие трико угрожающе (или торжествующе) развевались над головами. Что это было? Капитуляция? Победа? Перемирие? Все, что нам было нужно, – это немного терпения. Совсем чуть-чуть. Потому что с каждым взмахом ножа лицо молчаливой До разглаживалось и светлело. Казалось, распластанная на доске курица вдыхала в нее новую жизнь. Дыхание Доры становилось размеренным, а на щеках появлялся нежный, точно у девушки, румянец.

– Фрикадельки, – это было первое слово после часа или даже двух, – фрикадельки – детям!

Кастрюля с бульоном и фрикадельками так благоухала, так источала, – за кольцами вздымающегося пара лицо Доры казалось молодым и даже красивым... Ей-богу, молчание было ей на пользу!

– Фрикадельки – детям! – повторяла она и величественно удалялась. Ее необъятный зад колыхался, а исчезающая в дверном проеме спина была красноречивей многих слов. Но я не об этом. Речь о Дориных трико. Иной раз, откашливаясь, мама заводила беседу о том, что хорошо бы, – понимаете ли, Дора, – у нас бывают гости – интеллигентные люди, аспиранты и даже профессора, – это неудобно, – пускай пока повисят в комнате, вы не возражаете?

– В комнате? – Уперев руки в массивные бедра, Дора запрокидывала голову и раздражалась визгливым хохотом. – И это вы называете комнатой? – Смех ее переходил в клекот, вой, рыдания.

Мы, дети, с интересом ожидали развязки, потому что в чем-чем, а в истериках молчаливая До слыла великой мастерицей!

– Это вы называете комнатой? Это гроб! – взвизгивала она, обводя собравшихся торжествующим взглядом, – слава богу, истерики сегодня не предполагалось, всего только немного иронии, сарказма... – Этот гроб вы называете комнатой? И в этом можно жить?

Что сказать, в сентенциях равных нашей До не было.

– И что, вам стыдно за мое белье? Вполне приличное белье, не рваное, слава богу, не латаное и, что самое главное, чистое!

Последний аргумент крыть было абсолютно нечем – белье было действительно чистым и даже подсиненным. Тяжелую выварку Дора собственноручно водружала на плиту и священнодействовала над ней часами, орудуя такой специальной деревянной палкой. Конечно, интеллигентные молодые люди, которые заглядывали в наш дом, в первый момент были несколько... как бы это сказать... фраппированы, но только в первый момент.

В доктора Жан-Поль-Марию я была тайно влюблена, как влюблена была и в его предшественника. И во всех папиных студентов, а потом аспирантов, в друзей их друзей, в их жен (временных и постоянных), а также просто подруг. После Жан-Поль-Марию в нашем доме бывали перуанец (японского происхождения) Мигель, маленький, будто выточенный из темного дерева, перуанец Хорхе (и его прелестная жена, похожая на индейскую пеструю птицу, ее звали Бригитта, а также их крохотный сын Пепик), доминиканец Отто и его прелестная юная возлюбленная из Венесуэлы Паулина. В каждого нового гостя влюблялась я страстно и почти безответно, хотя нет – они тоже питали к неловкой девочке-подростку, по всей видимости, добрые чувства.

Однажды я влюбилась одновременно в пятнадцать человек – это были аспиранты и студенты из Сирии и Ливана – все как один статные и яркие юноши (и взрослые мужчины) армянского происхождения, – все как один сидели они за нашим столом, подвергаясь безудержному гостеприимству хозяев и моему безусловному молчаливому обожанию. Но это тема совершенно другой истории.

Темнокожий аспирант из Конго, кажется, был тайно влюблен в обладательницу столь роскошного белья. Полыхая белками глаз, он воздавал должное фрикаделькам, бульону – он одаривал До чарующей белозубой улыбкой и время от времени, поглядывая наверх, вздыхал; что

напоминала ему синяя бязевая ткань? Невесту? Возлюбленную? А может быть, некую могучую прародительницу, мифическую богиню плодородия?

– Надо же, кушает. – Подперев подбородок пухлым кулачком, Дора с умилением поглядывала в сторону заморского гостя. Она немного... по-женски... по-матерински... жалела его, такого черного, такого одинокого на чужбине. – У них, наверное, там голод, не то что у нас, слава богу.

Доктор Жан-Поль-Мария – а он был доктор – уже не вполне молодой – благоухающий, корректный, весь в манжетах и запонках, – благодарно кивал, склонив жесткую плюшевую голову над тарелкой, – все-таки удивительная страна, удивительные нравы... Под его бархатным взглядом До расцветала – она трепетала, точно птичка, и щебетала, щебетала, щебетала...

Доктор Жан-Поль был благодарным слушателем: ни разу! – ни разу он не перебил молчаливую Дору, напротив – с грустным и сосредоточенным вниманием он вслушивался в ее голос, вспоминая, должно быть, интонации спиричуэлс и таких же щедрых, смешливых и гневно-прекрасных женщин своей далекой родины.

Рыба

В тот день папа принес рыбу. Не просто рыбу. Рыбину. Не знаю, где он ее достал (в те времена настоящую еду именно что *доставали* или добывали, как трофей).

Уж, во всяком случае, не на удочку. И не в рыбном (там такие сроду не водились).

Это была огромная красная рыба, необыкновенно вкусная (я такой больше нигде и никогда не ела), какого-то специфического посола, – казалось, я могу ее есть всегда, длить и длить это блаженство, которое так и тает на языке, оставляя солоноватый вкус счастья.

К слову сказать, явление этой особенной рыбы пришлось как раз в постскарлатинный период, когда я шла только на соленое. Обычную каменную соль из солонки я могла есть, подбирая крупинки влажным пальцем и слизывая их по одной.

Рыба, повторюсь, была особенной, редкой и слишком... роскошной, что ли, для нашей небольшой кухоньки на втором этаже обычной пятиэтажной хрущевки. Несоразмерной, должно быть, обстоятельствам чувствовала себя и она.

«Не тот масштаб», – наверняка думалось ей, уныло лежащей на столе, с которого пришлось убрать все лишнее. Чувство вселенской несправедливости, вероятно, теснило ее перламутровую грудь, незаметно переходящую в серебристый животик.

Господи, какой прекрасной она была. Упругой, скользкой, благоухающей. Надо ли упоминать о том, что холодильник наш был соразмерен квартире, но уж никак не прекрасной гостье?

– Боже, – выдохнула мама, склонившись над страдальцей. Бедная юная мама, она вообще не понимала, с какой стороны подступиться к этому фантастическому явлению. И даже бабушка, которая в жизни не видела ничего крупнее карпа или леща, заметно сникла.

Что же касается добытчика – главы, так сказать, семейства, то он тоже, в общем, был не очень искушен в рыбных вопросах, – скажу больше: он не только не ел ничего рыбного, он его на дух не переносил. Одному создателю известно, как удалось ему донести это самое рыбное до дома. С трудом представляю папу, всегда со вкусом, с иголки одетого, – в трамвае, среди кошелок, авосек и корзин, – с увесистым пахучим свертком в руках.

На семейном совете решено было поделиться рыбой с Верочкой, которая жила неподалеку. Это была интеллигентная женщина неопределенного возраста и миниатюрного роста, кажется мамина сотрудница, переводчик.

Но для начала ее нужно было разрезать. Не Верочку, разумеется, а рыбу. Вооружившись острым ножом, мама сделала тонкий надрез вдоль жемчужного брюшка. Папа предпочел удалиться, не вынеся благоухания и вида беспомощно распростертого на столе существа. Ах, что за жабры, что за плавники, какой немислимый хвост и чешуя на нем!

Воображаю, как обрадовалась маленькая Верочка такому королевскому дару.

Не помню, сколько длилось рыбное благоденствие нашей семьи, – казалось, даже оставшейся половины хватит на долгую-предолгую жизнь.

Собственно, именно таковой она и является, особенно если дело происходит в тесной кухоньке, окнами выходящей на бульвар. За которым – школа, но об этом потом, возможно через месяц или два, а пока же солонка полна отборной, чуть сероватой крупнозернистой соли, она не закончится никогда.

До курицы и бульона

Есть ли в вашем доме настоящая шумовка? Которой снимают (в приличных домах) настоящий жом. Жом – это для тех, кто понимает.

В незапамятные времена дни были долгими, куры – жирными, бульоны, соответственно, – наваристыми, и жизнь без этой самой шумовки уж кому-кому, а настоящей хозяйке показалась бы неполной.

Шумовка как важный предмет кухонного обихода была ничуть не менее важна, чем, например, стиральная доска или чугунный утюг. Таким утюгом можно было выгладить все что угодно! Какими безупречными казались складки, стрелки, воротнички – стоило только пройти по ним тяжеленным (не трогай! обожжешься, уронишь, покалечишься) и полным незаметного достоинства чугунным чудовищем. Чудовище было сделано на века (и где он теперь, где? не иначе как в одной из антикварных лавок, коих развелось великое множество). Как, впрочем, и дверцы комода, и выдвижные ящички (шифлотики, или шухлядки – кому как нравится). Однажды пришлось обильно попотеть, прежде чем открылся запертый на ключ нижний ящик письменного стола, – ключ все не поворачивался в засоренной чем-то замочной скважине, я долго корпела над ней, сопя, пока не раздался характерный хруст – что-то предательски треснуло в этой самой скважине, и ладони мои взмокли, – обломки ключа я выковыривала с каким-то извращенным сладострастием, а после уже рвала и терзала ни в чем не повинный ящик – клянусь, мало что могло остановить юную взломщицу в момент совершаемого преступления, хотя картины Страшного суда одна за другой являлись перед затуманенным взором.

Хруст, щелчок, рывок, и ящичек плавно поддался – не ожидая столь быстрого разрешения, я замерла – перед свершившимся (о, не исправить, не скрыть) фактом и богатством открывшегося.

Чего только не было в тайнике! Насладившись вдоволь – перечисляю по порядку – записными книжечками, перьевыми ручками, курительными принадлежностями (и в том числе изогнутыми причудливо трубками), сладким табачным ароматом, сверкающими зажигалками, кнопками, монетами, открытками, ножиками для разрезания бумажных листов – дрожащими руками я выудила со дна ящичка старательно перевязанную бечевкой пухлую пачку писем.

Не мешкая, развернула ее – впрочем, я делала это столь же поспешно, сколь бережно, – письма (это я поняла, уже разворачивая, на ходу вчитываясь, вникая) оказались от довольно близких мне людей – сказала бы, самых близких, – и что удивительно, по тональности писем, легко сопоставив даты, события, факты, я сделала весьма важный вывод. Забравшись с ногами на застеленный грубым паласом топчан, стоявший неподалеку, – а дело происходило в кабинете отца, в святая святых, – я погрузилась в чарующий мир чувств, эпитетов, иносказаний.

Странное дело. Преступницей я себя не ощущала. Счастливо улыбаясь, листала странички, исписанные порывистым папиным почерком, придирчиво всматривалась в даты, искала соответствующий дате и смыслу мамин ответ – о, я ощущала себя донельзя причастной к таинству, и потому мысли о противозаконности моих действий были весьма далекими от меня. Ведь то, что находилось у меня в руках, было очевидным доказательством того, что рождение мое стало всего лишь звеном в цепи почти случайных событий и что без этих писем (в которых... о боги, в которых, будто удивительнейший роман, развертывалась история, конечно же, любви – не родителей, а пока еще незнакомых мне людей, незнакомой мужчины и незнакомой женщины), что без этих писем, сумбурных, полных противоречий... не было бы...

Пока писались эти письма, уже (где-то там, на небесах – даже я, без пяти минут пионерка, смутно об этом догадывалась) зажигалась крохотная звезда, предшествовавшая моему рождению. При чем здесь шумовка, спросите вы, при чем здесь бульон? Да вроде бы ни при чем, – отвечу я, чуть подумав.

Вроде бы ни при чем, хотя... Это был долгий, долгий сентябрьский день. Бабушка возилась на кухне, снимала шумовкой жом (такая мутная желтоватая пена), – она снимала жом, радуясь тому, что курица оказалась, слава богу, упитанной, – варка курицы была, если хотите, миссией, судьбой, счастливым итогом состоявшейся жизни... Я, вполуха вслушиваясь в бабушкино бормотание (там было и насчет курицы, и насчет всего прочего, но об этом потом), испуганно возилась у взломанного ящика, а после, забыв обо всем на свете, упивалась романом в письмах. В нем был долгожданный ответ на постоянно задаваемый вопрос – что было до всего? Ну, до всего – до того, как появилась земля, луна, солнце, звезды, – еще до курицы и бульона, до громоздящихся одна на другую пятиэтажек, до сгущающихся осенних сумерек, до жесткого папиного топчана, до бабушкиного бормотания там, на душевной кухне, до сломанного, застрявшего в замке ключа, до моего преступления и последовавшего за ним наказания (а вы как полагали?) – несерьезного, впрочем, – ну как ты могла? как? чужие? письма? читать? не говоря уже о ящике? – еще до всего, что случилось тогда и должно было случиться после.

Любовь – именно она – до звезд, луны, бульона и курицы, – она явилась причиной всему – как начало длинной-предлинной истории, в результате которой на свет появилась я – потное, виноватое, взъерошенное существо со стиснутыми кулаками – еще минуту назад потрясенное великим открытием, пожалуй, самым значительным в жизни.

Любовь к чернозему

– Знаете, я вам так скажу, не любит она землю, не любит, – произнесла она, проводив взглядом мою макушку, мелькающую там и сям между деревьями за окном.

Окно школьного коридора выходило прямо во двор, выложенный бетонными плитами, между которыми пробивались чахлые травинки. Эти травинки мы выщипывали во время уроков ботаники.

Понукаемые бабой Таней, Телегой, Оглоблей, которая страстно любила полоть. Полоть, сапать и таскать землю.

Похоже, душа ее изнывала по земле, по тяжелому крестьянскому труду, а приходилось воспитывать школьную мелкоту, заодно прививая ей, этой самой мелкоте, любовь к прополке. Сама она тоже не отлынивала. Большая, нелепая, вся в каких-то буграх и жилах, с наслаждением засаживала сапку и разгибалась, сжимая в пальцах жирный ком земли. На лице ее в этот момент наблюдался элемент явного сладострастия – она добрела на глазах, узлы морщин распускались, и если бы не огромный веснушчатый лоб и выдающийся подбородок, а еще уходящие вглубь черепа крохотные глазки, то ее можно было бы назвать даже хорошенькой.

По слухам, баба Таня была незамужем и одна воспитывала дочь, большеногую девочку с затянутыми до обморока тусклыми косичками вдоль широких скул.

Однажды я видела, как идут они рядом, большая Таня и маленькая, обе нелепые, отчаянно некрасивые. Что-то щемящее было в этом сером дождливом дне и двух не нужных никому фигурках на фоне одинаковых серых домов. Я пыталась представить себе мужчину, который, возможно, любил ее, которого любила она... Пыталась вообразить юную девушку, да, нескладную, но... желанную? Интересно, какое было у нее лицо, когда... А у него? Каким был этот удивительный человек, осмелившийся поцеловать нашу бабу Таню?

Сачков баба Таня откровенно не любила. Что-то содрогалось в ней при виде «этих задыхликов», «очкариков», спотыкающихся на каждом шагу, волокущих очередное ведро с землей.

– Землю – ее любить надо, любить, – задыхаясь, разминала кусок грязи с торчащими там и сям травинками. Пальцы у бабы Тани были жесткие, узловатые, а под ногтями чернела траурная кайма.

Мне сложно было любить землю.

Не то чтобы «любить не любить», но отношение мое к сельскохозяйственным работам оказалось довольно прохладным.

Это при всем том, что возня за пределами неуклюжего серого здания была гораздо приятней, чем привычные сорок пять минут скуки...

После урока на воздухе мы возвращались в класс возбужденные, красные, – некоторые держались за животы, потому что ведра, доверху набитые вязкой землей, оттягивали плечи.

Самое смешное началось в конце третьей четверти, когда девочки, одна за другой, стали отпрашиваться с урока.

Причем смешно было бабе Тане, но уж никак не девочкам.

– Освобождение? Медпункт? (Добрая Люся Поляк из медпункта давала освобождение на три дня.) А во время войны? А в окопах? А на заводах? А на полях? Им давали освобождение?

Монументальная фигура раскачивалась у доски, а присмирившие нарушительницы переминались с ноги на ногу.

Стоит ли говорить о том, какой камень ворочался в баба-Таниной груди при виде презренных сачков?

– Ваша дочь – типичный сачок, – угрюмо сказала она. – Вот, справка об освобождении от уроков третий раз за месяц!

– У меня действительно болел живот, – прошелестела я, вспомнив о коробке шоколадных конфет, припрятанных на майские.

– Не любит она землю, не любит. – Мама виновато потупилась, понимая, видимо, что недостаточно усилий прикладывала для того, чтобы привить своим детям истинную любовь к земле.

Что и говорить, родственников в деревне у нас отродясь не было, ну разве что в одной заброшенной деревушке с нерусским названием Шикагох, – да и земля там не чета этой – сухая, красноватого цвета, благородным черноземом, как говорится, и не пахнет.

Я не любила землю, молоко из-под коровы и ранний подъем.

Какой подъем, если до позднего вечера мы с папой слушали «Голос Америки» и «Немецкую волну»?

«Вы слушаете голос „Немецкой волны“ из Кельна», – этот резковатый женский голос я любила более всего.

О какой ботанике могла идти речь, если коробка недоеденных конфет и застланный жестким паласом топчан в папином кабинете сулили полную событий взрослую жизнь, далекую от школьных уроков, неподшитых воротничков и исполосованного алым дневника?

Надо ли говорить о том, что познания мои о жизни были довольно сумбурными?

– Здравствуй, девица, – как поживаете, девица? – Я обожала гостей, которые не сюсюкали и не делали большие глаза, а вели при мне довольно взрослые беседы. Некоторые из них садились прямо на пол, а чай пили без сахара, из круглых белых пиал. Чай в нашем доме всегда пили из пиал. Из маленьких узбекских и глубоких японских.

В общем-то, папе даже не требовалось произносить то самое слово. Вполне достаточно было взгляда. Чтобы понять – чужой.

Чужие приходили и, как правило, задерживались допоздна. После их ухода мама проветривала комнату, а папа придвигал кресло к укоризненно молчащему приемнику.

Сквозь скрежет и вой пробивались звуки с другой планеты, на которой не предполагалось ведер, любви к чернозему и незваных гостей.

Ковчег

Это был очень хороший ковчег. Новенький, надежный, с гладкой обшивкой.

Мы добирались до него долго, целых семь остановок.

Видимо, я тогда уже выросла – и красный цвет трамвая не вызывал неукротимых рвотных спазмов. Мы ехали долго, а за окнами проносился редкий лес, многоэтажные здания. Это был новый район, он строился для новой и светлой жизни.

– Для наших детей, – с гордостью сказала мама и поцеловала брата в макушку. И посмотрела на отца. В той, прежней жизни оставались палисадник, школа, обезьяна Жаконя с оторванным ухом – не везти же весь хлам с собой!

Остались дворовые друзья и враги, Ивановна с первого этажа, соседка Мария, кинотеатр на углу, пивнушка, подвал, в котором здорово прятаться и играть в гестапо.

В прежней жизни оставалась бабушка и ее муж, которого она сама называла не иначе как «он» и «старый дурак». Иногда «старый дурак» трансформировался в «старого пердуна».

– Возьми, пока старый дурак спит! – Мятая рублевая бумажка проделывала долгий путь, из внутреннего кармашка «его» пиджака в карман бабушкиного фартука, а оттуда – в мою ладонь.

Бумажный рубль полагалось тратить. Он не влезал в копилку и не гремел оттуда тяжело и многозначительно, как копеечные медяки. Лежал в кармане и время от времени напоминал о себе нежным шорохом.

На рубль можно было купить... Ох, на рубль можно было владеть целым миром. Сколько пачек мороженого, сколько шоколадных конфет, а леденцов-цилиндриков, тянучек, воздушных шаров. Не говоря уже о сладкой газировке. Или томатном соке. Нет, яблочном. Или все-таки томатном?

От обилия возможностей кружилась голова.

Все это были такие смешные, маленькие удовольствия... Такие незначительные по сравнению с главным. Каким, спросите вы? А вот каким. Например, улучшить момент, когда мама озадаченно роется в кошельке, а потом незаметно вздыхает и отводит глаза от прилавка. Небрежно протянуть сокровище и потом долго, весь день и весь вечер чувствовать себя... Понимаете?

В прежней жизни оставалась смежная комната, забитая книгами и стеллажами, выходящая окнами на бульвар Перова.

Комната была маленькая и солнечная, во всяком случае, солнечные зайчики в ней не переводились.

Окна выходили на бульвар и шоссе, и, не выходя из дому, можно было быть в курсе всех важных событий. Дорожные аварии, свадебные машины с куклами и шарами, похоронные процессии, пьяные разборки у гастронома, – вот через дорогу семенит соседка из первого подъезда, с кошелкой, это если с базара, а если с авоськой, то из овощного.

В квартире на Перова было весело, потому что скучать было решительно некогда.

Добрая ссора – соль земли. А что вы скажете о хорошем скандале?

Скандалили все. Танькины родители с третьего, Мария с пьяным мужем за стеной, Ивановна снизу, бабушка с «ним», бабушка с мамой, мама с бабушкой. Слава богу, повод находился всегда.

– Не слушай ее, – бабушка заговорщицки сжимала мою руку, – она малахольная, твоя мама.

Боевые действия разворачивались стремительно. «А вот тебе», – бабушка подсакивала на удивление резво и торжественно выбрасывала вперед стиснутый кулак. Это было похоже на танец.

На пантомиму, балет и оперу одновременно. «А вот тебе», – маленькая смешная дуля описывала круг, и я не помню уже, чем именно отвечала ей мама, зато помню истошный вопль, который, несомненно, слышали все без исключения соседи. – «Ой! держите меня!» – бабушка хваталась за сердце и медленно опускалась... куда? куда попало опускалась она, изумленным взглядом обводя стены, призывая в свидетели все застывшее в смертном ужасе человечество.

О бабушкином муже, мамином отчиме, я помню только намотанные на больные ноги тряпки и выражение «жмать масло», которое обозначало весьма странное действие, носившее явный садистский подтекст. Острые болезненные щипки – таким образом бабушкин муж занимал ребенка, то есть меня.

Мама с трудом терпела его и все время устраивала сквозняки, потому что ей всегда пахло «старым пердуном», а бабушка кричала, что она нарочно, назло делает сквозняк, что в квартире ничем таким не пахнет, а пахнет нормальной жизнью – супами, кастрюлями, болячками.

Иногда все же наступало затишье – я мирно играла в бабушкиной комнате, а «старый дурак» говорил «жмать масло» и делал мне козу. Это случалось накануне дней рождений и когда транслировали футбольные матчи.

Во время матчей вообще было весело. С певучим хохотом вбегала соседская Мария. Она забегала узнать, не здесь ли ее Петро. И напомнить, «шоб дядя Миша ему больше не наливал». А дядя Миша, конечно же, наливал, и Мария прибежала во второй раз. На этот раз уже не с пустыми руками, а, допустим, с тарелкой холодца и огромными мятыми огурцами, потому что где наливают, там и закусывают, верно?

Во время всей этой шумной беготни я монотонно раскачивалась на ручке двери, а папа писал диссертацию. Он ловко отбивал чечетку на новенькой пишущей машинке и на любой вопрос отвечал: м-м-м... Мама одевала меня, набрасывала жакет, и мы долго гуляли по бульвару Перова, под шум поющих тополей и вопли футбольных фанатов.

Через дорогу я поглядывала на наши окна. В одном размахивали руками и кричали протяжное «гоооо!!!», а в другом – громоздились шаткие книжные полки и маленькая фигурка перемещалась из угла в угол и замирала в задумчивости, склоняясь над кипой бумаг.

* * *

Первым полагалось внести котенка, но котенка не было, и потому первой вошла мама. Она вошла неуверенно, озираясь по сторонам, каждую минуту готовая к отступлению.

Но отступления быть не могло. В каждой комнате мы останавливались и кричали: ура! Обнимались и опять кричали. Кружили охрипшие, восторженные, стояли неподвижно, взявшись за руки, потом вновь принимались бегать и кричать. Пахло свежей побелкой и больше ничем. Наверное, так пахнет счастье.

Первую ночь мы спали на полу, на расстеленных как попало коврах и одеялах. Это было похоже на табор. Настоящий цыганский табор. С разбегу я нырнула в постель и долго лежала в темноте, вслушиваясь в шепот и смех. Ну точно как маленькие, снисходительно подумалось мне. Подумалось только на мгновение, потому что это был очень длинный день. В прежней жизни оставался ящик со старыми игрушками, балкон, увитый виноградной лозой, школа через дорогу. Осталась сумасшедшая Валечка из первого подъезда, слепой старик у дороги, воробей, погребенный в четверг под ивовым деревом. Нашествие гусениц, свалка за домом, участковая Ада Израильевна, учебники за первый класс, красное платье, из которого я выросла за лето.

Впереди было долгое плавание, и наш маленький корабль раскачивался вместе с книгами, пластинками, собаками, виолончелью, вместе с детскими обидами, страхами, снами, с утерянными дневниками, невыученными уроками, – раскачивался, но упрямо плыл – влево-вправо, вперед-назад...

Карусель

Время от времени она поднимала на меня глаза и восклицала – иногда восклицала, а иногда выпевала протяжно, смакуя каждую букву: *мирзолзайн*... Я, конечно, понятия не имела, что же такое это самое «мирзолзайн», но ощущения были приятные. Это было какое-то специальное, возможно даже волшебное слово. Оно, будто кокон, обертывало меня и подбрасывало... легко, как пушинку, и я, без преувеличения, казалась себе неуязвимой.

– Мирзолзайн, – пела бабушка, жонглируя нехитрой утварью на нашей кухне, выходящей окнами прямо на школу и пролегающий между домом и школой бульвар. Тут у меня все было как на ладони. Весь мир.

Какое колесо обозрения? По шоссе (между бульваром и школой) весело пролетали автобусы – однажды и я улетела на одном из них и, вцепившись в поручень, тряслась, точно заячий хвост, – автобус уносил меня в даль далекую, заповедную, – до сих пор не могу понять, что же вынудило меня пойти на этот отчаянный шаг, согласиться на предложение полудруга-полуврага, коварно заманившего черт знает куда под предлогом игры в казаков-разбойников, – уже и не вспомнить, в каком тумане возвращалась я домой и какими прекрасными, вырастающими словно из доброй сказки казались родные пятиэтажки с балконами, увитыми хмелем и плющом, – а вон и наш, синий, на котором стояла, подобная капитану дальнего плавания, или штурману, или мичману, или верховному главнокомандующему, – стояла, будто изваяние, приложив козырек ладони ко лбу, кто бы вы думали?

У нее уже и сил не оставалось всплескивать ладонями, выбегать во двор, выпытывать у всезнающих соседских старушек... Казалось, все вдохи, выдохи, причитания ушли в одно смешное, непонятное слово, которое, как охранная грамота, сопровождало меня в скитаниях по чужому и страшному микрорайону. Наверное, оно сверкало у меня во лбу.

Любимых детей видно издалека. Что-то такое они несут в себе... или носят – похожее на амулет, зашитый в потайном кармашке.

* * *

Однажды в нашем доме на Перова завелась жаба. Огромное, пупырчатое, жадное существо тускло-зеленого цвета, с прорезью жадного рта, – с неизменным энтузиазмом оно пожирало все – медные монетки, серебряные рубли и мятые бумажки достоинством в рубль или даже три.

Мне нравилось трясти ее, вслушиваясь в шорох и звон, и воображать себе несметные сокровища, которые, уж будьте мне покойны, я найду на что истратить! Иногда я пыталась просунуть указательный палец в щель ее рта, но жаба была начеку и не спешила расставаться с богатством.

Она стояла на почетном месте, вытаращив глаза. И ждала. Ее зрачки следовали за каждым входящим. Казалось, еще немного, и она щелкнет челюстью. Она жирела с каждым днем – белесое брюхо ее раздувалось, а глаза вылезали из орбит. Бедная, бедная жаба! Предчувствовала ли она свою судьбу? Свою бесславную и скоропостижную кончину?

Проходя мимо жабы, бабушка жестом фокусника выуживала свернутую бумажку и, озираясь по сторонам, подмигивала – мне, или ей, или обеим вместе, но однажды, когда испортая и поверженная хранительница сокровищ лежала на боку, а по столу перекатывались монетки и шурали рубли, я без труда узнала эти, меченые, свернутые в трубочку... Их было больше остальных.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.